

АЛЕКСЕЙ КОРНЕЛЮК

СЕМЬ
СООБЩЕНИЙ,
КОТОРЫЕ
ТЫ НЕ
ОТПРАВИЛ



18+

Лекарство от одиночества

Алексей Корнелюк

**Семь сообщений,
которые ты не отправил**

«Автор»

2026

Корнелюк А.

Семь сообщений, которые ты не отправил / А. Корнелюк —
«Автор», 2026 — (Лекарство от одиночества)

«Семь сообщений, которые ты не отправил» — роман о человеке, который слишком долго жил в режиме черновика. Однажды ночью у него разбивается телефон, а на старом ноутбуке всплывают семь сообщений, которые он когда-то написал, но так и не отправил. Матери. Отцу. Первой любви. Другу. Жене. Ребёнку. И самому себе — семнадцатилетнему, ещё не умеющему предавать собственную жизнь. Каждое сообщение открывает дверь в реальность, где он всё-таки нажал «отправить». Не чтобы всё исправить. А чтобы увидеть, сколько лет он путал молчание с силой, удобство — с любовью, а страх — со взрослостью. Это не мягкая история про исцеление. Это роман для тех, кто однажды написал главное сообщение, стёр его — и сделал вид, что ему всё равно.

© Корнелюк А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Ночь, когда сдох экран	5
Глава 2	11
Старый ноутбук и папка «не трогать»	11
Глава 3	19
Мам, я устал быть удобным	19
Глава 4	27
Пап, я всё ещё жду, что ты зайдёшь	27
Глава 5	36
Я тогда испугался	36
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Алексей Корнелюк

Семь сообщений, которые ты не отправил

Глава 1

Ночь, когда сдох экран

Телефон умер на углу Литейного и какой-то маленькой улицы, название которой я знал лет десять, но всё равно каждый раз забывал, потому что Петербург вообще город, где названия улиц звучат так, будто их придумали для людей с хорошей памятью и плохой судьбой. Он выскользнул из руки, сделал короткий акробатический номер, достойный дешёвого цирка у метро, ударился о край поребрика и нырнул лицом вниз в серую лужу, где уже плавали окурок, чек из «ВкусВилла», чья-то размокшая листовка про английский для детей и тонкая радужная плёнка бензина — эта маленькая нефть человеческой повседневности.

Я стоял над ним и смотрел так, будто у меня на глазах умер близкий родственник, с которым мы, правда, давно уже ненавидели друг друга, но всё равно жили вместе из экономии и привычки. Экран мигнул. Потом ещё раз. Потом показал мне моё собственное лицо, перекошенное от усталости, дождя и сорока двух лет неправильных решений, и погас окончательно.

— Ну вот, — сказал я.

Это была, конечно, слабая речь для человека, который только что потерял центр управления своей жалкой империей. Надо было сказать что-нибудь сильное. Например: «Сука». Или: «Так заканчивается эпоха». Или: «Господи, если ты есть, пришли мне новый айфон и характер». Но из меня вышло только «ну вот», потому что к тому моменту день уже выжал из меня всё, включая ненормативную лексику.

Дождь шёл мелкий, питерский, издевательский. Не тот честный дождь, который льёт как катастрофа и имеет хотя бы характер, а эта водяная пыль, от которой ты не мокнешь сразу, а постепенно становишься вещью, которую забыли на балконе в ноябре. Пальто налипло на плечи. Воротник холодил шею. В ботинке что-то хлюпнуло с тем интимным звуком, с каким жизнь сообщает тебе: да, брат, дальше будет только интереснее.

Я наклонился, вытащил телефон из лужи двумя пальцами, как достают дохлую рыбу или чужую правду, и протёр рукавом. На экране паутина трещин расплзалась от угла к углу. Красиво даже. Почти художественно. Будто кто-то нарисовал карту моей нервной системы.

До дома оставалось минут двадцать пешком. Можно было поймать такси, но такси жило в телефоне. Можно было спуститься в метро, но я был в том состоянии, когда человек выбирает идти под дождём, потому что ему кажется, будто это наказание хоть как-то упорядочит хаос внутри. К тому же Петербург ночью умеет смотреть на тебя так, будто знает всю твою переписку и немного стыдится за тебя.

Я пошёл.

Слева проехал автобус, огромный, жёлтый, освещённый изнутри, как аквариум с уставшими рыбами. В нём сидели люди, прижавшиеся к окнам. У каждого в руках был телефон. Маленькие синие лица. Большие пустые глаза. Кто-то скроллил новости, кто-то смотрел короткое видео, где человек падал лицом в торт и этим, возможно, спасал чужой вечер от окончательной капитуляции. Девушка в красной шапке печатала что-то быстро, зло, большим пальцем, как будто добивала раненого. Мужчина с пакетом из «Дикси» смотрел в экран с выражением человека, которому только что сообщили, что скидка на сосиски была смыслом его жизни.

Автобус ушёл, оставив после себя мокрый воздух и запах горячей резины. Я сунул мёртвый телефон в карман и вдруг понял, что остался один на один с городом. Без музыки. Без карт. Без сообщений. Без возможности сделать вид, что я занят чем-то важным, пока на самом деле просто боюсь услышать собственные мысли.

Это было неприятно.

Мы, люди XXI века, вообще плохо переносим прямой контакт с реальностью. Реальность слишком крупнозернистая. У неё нет тёмной темы, настройки яркости и кнопки «пропустить». Она пахнет мокрой шерстью, дешёвым кофе, подвалами, чужими духами в маршрутке, горячим хлебом из круглосуточной пекарни и старой водой каналов, которая видела столько человеческой драмы, что давно могла бы открыть частную практику и брать по пять тысяч за сеанс.

Я шёл по Литейному, и витрины смотрели на меня с профессиональным равнодушием. В одной продавались пальто, которые делали людей похожими на тех, у кого есть план. В другой — торты, созданные для семей, где умеют разговаривать за столом, не превращая каждую фразу в маленький судебный процесс. В третьей — книги. Я задержался на секунду у стекла и увидел отражение: мужчина в тёмном пальто, волосы прилипли ко лбу, под глазами тени, лицо такое, будто его забыли дописать после трудной сцены.

Герман Лисицын, сорок два года. Специалист по словам.

Это звучало неплохо, пока не знаешь деталей.

Я работал в агентстве, которое помогало большим компаниям выглядеть человечнее. Прекрасная профессия для человека, который сам постепенно утратил признаки жизни. Мы писали тексты от имени банков, застройщиков, сервисов доставки еды, образовательных платформ и прочих благородных учреждений, которые сначала превращали людей в цифры, а потом заказывали нам кампанию про заботу. Я мог за два часа написать письмо от лица генерального директора, в котором увольнение трёхсот сотрудников звучало как новый этап общего роста. Мог придумать слоган для страховой компании так, что смерть начинала казаться логичной частью клиентского пути. Мог составить извинение после скандала так аккуратно, что виноватым чувствовал себя пострадавший.

Слова у меня были.

В этом и заключалась мерзость.

У меня были слова для всех, кроме тех, кому они действительно были нужны.

В тот день мы сдавали презентацию для сети частных клиник. Кампания называлась «Мы рядом». Внутри были улыбающиеся врачи, светлые коридоры, рука на плече, простые человеческие фразы и такое количество фальшивого тепла, что им можно было отапливать пригородный посёлок. Клиенту не понравилось.

— Не хватает эмпатии, — сказала бренд-директор, женщина с идеально прямой спиной и лицом человека, который в детстве не плакал, а сразу формулировал KPI.

Я посмотрел на экран, где на слайде было написано: «Ваше здоровье — наш главный разговор», и подумал, что если это не эмпатия, то я не знаю, что ещё нужно этим людям. Может быть, чтобы врач прямо из баннера вылезал и гладил пациента по голове тёплой корпоративной рукой.

— Герман, — сказала она, — хочется больше живого.

Больше живого.

Эта фраза попала в меня не сразу. Она ходила где-то по комнате, нюхала углы, выбирала место, а потом тихо легла мне под рёбра. Больше живого. От меня хотели больше живого. От человека, который последние годы мастерски изображал присутствие в собственной жизни.

Я тогда улыбнулся. Сказал, что понял. Записал в блокнот: «больше живого». Подчеркнул два раза. Рядом нарисовал маленькую виселицу, но так, чтобы никто не заметил.

После презентации начальник похлопал меня по плечу и сказал:

— Не парься. Перепишем. Ты же у нас умеешь чувствовать текст.

Да. Я умел чувствовать текст. Людей — хуже. Себя — почти никак.

Потом был созвон. Потом письмо. Потом ещё одно письмо. Потом голосовое от матери, которое я не дослушал. Потом сообщение от Лены: «Ты сегодня во сколько?» Я посмотрел на него, подумал «позже отвечу» и, конечно, не ответил. Потому что «позже» — это мой любимый способ хоронить реальность без лишних расходов на венки.

Лена была моей женой, хотя в последние месяцы это слово звучало у нас дома как старая должность, которую забыли убрать из штатного расписания. Мы жили вместе, платили за квартиру, покупали продукты, обсуждали ребёнка, счета, школу, куртку, стоматолога, сломанный кран и необходимость наконец выбросить стул на балконе. Всё было нормально. Именно это и пугало. Нормально — страшное слово. В нём помещается всё, что уже умерло, но ещё ходит по квартире в тапках.

Я не ответил ей. Потом разбил телефон. Получилось почти символично, если бы символы не были такой пошлой штукой, которую жизнь подсовывает тебе в самые дешёвые моменты.

На Невском былолюдно даже в этот поздний час. Туристы, подростки, курьеры, пары, одинокие мужчины с лицами отставных пророков, женщины с пакетами, иностранцы, потерянные таксисты, местные, которые делали вид, что всё это их не касается. Петербург бурлил под дождём, светился вывесками, отражался в асфальте, шипел колёсами, хлопал дверями баров, дымил электронными сигаретами у парадных и пах шавермой так убедительно, будто шаверма была единственным доказательством, что Бог иногда всё-таки бывает милостив.

Я прошёл мимо компании молодых ребят у бара. Один из них рассказывал что-то громко, с отчаянной весёлостью человека, который боится паузы. Девушка смеялась, запрокинув голову. Парень рядом держал её за рукав, будто боялся, что она улетит вместе с дымом. Я вдруг вспомнил себя в семнадцать. Не конкретно, не картинкой, а запахом: мокрая куртка, дешёвый дезодорант, подъезд, чужие духи, монеты в кармане, голод, который путался с желанием жить.

Семнадцатилетний я, наверное, посмотрел бы на меня нынешнего и решил, что взрослые — это отдельный вид насекомых. Большие, усталые, всё время куда-то ползут, но не могут объяснить зачем.

Я дошёл до Фонтанки и остановился у воды. Река была чёрная, масляная, с разорванными отражениями фонарей. В Петербурге вода вообще не течёт — она наблюдает. Москва давит. Петербург подслушивает. Стоит тебе подумать что-то стыдное, как ближайший канал уже всё понял и передал мостам.

В кармане лежал телефон. Мёртвый. Холодный. Абсурдно тяжёлый. Без него я чувствовал себя не свободным, а ободраным. Будто с меня сняли тонкую плёнку, которой я много лет прикрывал всё некрасивое.

Я достал его снова, нажал кнопку. Ничего. Чёрный экран. В этом чёрном экране отражался фонарь, кусок мокрого неба и моё лицо. Я выглядел человеком, которому нужно было срочно поговорить с кем-нибудь, но он за сорок два года так и не выучил этот базовый человеческий трюк.

Мать ждала ответа на голосовое.

Отец, возможно, вообще не ждал ничего. Он был из тех мужчин, которые могли не ждать профессионально, с достоинством и слегка обиженным видом, будто мир сам виноват, что не догадался прийти первым.

Лена ждала, во сколько я буду.

Сын, наверное, уже спал. Или делал вид, что спит. Дети быстро учатся этому взрослому искусству: лежать тихо, пока за стеной родители разговаривают голосами, в которых любовь уже ходит на костылях.

Был ещё Сашка. Друг из прежней жизни. Из той, где мы верили, что станем кем-то, а не просто людьми с календарями и гастритом. Я не писал ему много лет. Точнее, писал. Несколько

раз. Длинные сообщения. Честные. Хорошие даже. Потом стирал. Потому что честность в три часа ночи выглядит убедительно, а утром становится юридически опасной.

И была Вера.

Первая любовь. Самое тупое словосочетание в мире, если произносить его вслух. Оно звучит как название дешёвого сериала, где все слишком красиво страдают на фоне осенних листьев. На самом деле первая любовь — это человек, которому ты не сказал правду вовремя, а потом всю жизнь выдавал это за характер.

Я стоял у Фонтанки, с мёртвым телефоном в руке, и внезапно понял, что моя жизнь была не романом, не драмой, не трагикомедией, а папкой черновиков.

Написано много.

Не отправлено ничего.

От этой мысли мне стало смешно. Не весело, а именно смешно — тем коротким внутренним смехом, с которого иногда начинается паника. Я хмыкнул, и проходящая мимо женщина с зонтом посмотрела на меня так, будто я собирался раздеться и прочесть стихи Бродского голубям. В Петербурге, впрочем, этим никого особенно не удивишь.

Я пошёл дальше.

У дома пахло мокрой штукатуркой, подвалом и чьей-то жареной картошкой. Наша парадная встретила меня тусклой лампочкой и стеной, на которой кто-то нацарапал ключом: «ЛЮБОВЬ НЕ СПАСАЕТ». Ниже другой человек, более практичный, дописал: «ЗАТО ИПОТЕКА УБИВАЕТ». Я постоял перед этой народной философией несколько секунд и подумал, что, возможно, у подъездов есть лучший редактор, чем у большинства издательств.

Лифт не работал. Конечно. В такие ночи лифт всегда не работает, потому что мир уважает драматургию. Я поднялся пешком на пятый этаж, слушая, как в груди стучит сердце, а в ботинке продолжает хлюпать маленькое личное болото. На третьем этаже за дверью кто-то ругался. На четвёртом плакал ребёнок. На пятом было тихо. Самая неприятная акустика.

Я открыл дверь своим ключом.

В квартире было темно. Лена оставила свет на кухне. Это у нас называлось заботой, перемирием и иногда — пассивной агрессией, в зависимости от того, кто первым начнёт разговор. На столе стояла тарелка, накрытая другой тарелкой. Рядом записка: «Ужин в холодильнике». Бумажная. Настоящая. Написанная рукой. Не сообщение в мессенджере. Не эмодзи. Не «ок». Просто несколько слов на листке.

Я взял записку и почему-то почувствовал себя хуже, чем у Фонтанки.

Потому что человек, который оставляет тебе еду, ещё не ушёл. Но человек, который уже пишет записки вместо разговоров, возможно, собирает вещи внутри себя.

Я снял пальто, повесил его на крючок, промахнулся, пальто упало на пол. Я посмотрел на него и не поднял. Прекрасный, зрелый жест взрослого мужчины: если вещь упала, пусть лежит, ей тоже надо отдохнуть.

На кухне я открыл холодильник. Там стояла кастрюля, контейнер с гречкой, сыр, пол-лимона, детский йогурт и банка огурцов, которые пережили уже три политических эпохи нашего брака. Я закрыл холодильник. Есть не хотелось. Хотелось исчезнуть, но без лишнего шума, чтобы никого не разбудить.

Телефон я положил на стол. Он лежал рядом с запиской Лены, как маленький чёрный гробик рядом с завещанием.

Я включил чайник. Потом выключил. Потом снова включил. Это была моя версия медитации: бессмысленное действие с бытовым прибором, пока душа пытается не развалиться на полу.

Из комнаты сына донёсся тихий кашель. Я замер. Потом подошёл к двери и приоткрыл. Он спал, отвернувшись к стене, одной ногой сбросив одеяло. На полу валялась машинка, носок,

книжка про динозавров и пластиковый меч — полный набор цивилизации, которая ещё верит, что чудовищ можно победить, если достаточно громко крикнуть.

Я хотел зайти, поправить одеяло, поцеловать в макушку. Но остановился. Не потому что боялся разбудить. Нет. Это было бы красивое объяснение. Я остановился потому, что нежность иногда требует большей смелости, чем скандал. Скандал — простая штука. Там можно шуметь, обвинять, хлопать дверью, чувствовать себя живым. А нежность — она беззащитная. Подошёл, поправил одеяло, и всё, ты уже не циничный мужик в мокром пальто, а человек, которому страшно, что однажды этот мальчик перестанет ждать.

Я всё-таки зашёл.

Одеяло было тёплое. Сын вздохнул во сне и пробормотал что-то невнятное. Я накрыл его плечо, постоял секунду, как вор, который забрался в чужую жизнь и вдруг понял, что это его собственная. Потом вышел.

В спальню я не пошёл. Лена спала или делала вид. Мы оба прекрасно владели этим искусством. Я остался на кухне, сел за стол и уставился на мёртвый телефон.

Без него было невозможно проверить почту, ответить начальнику, посмотреть новости, написать Лене бессмысленное «я дома», хотя она и так знала, что я дома, потому что стены в наших домах тоньше семейных границ. Невозможно было открыть банк, заказать новый экран, послушать подкаст, зависнуть в ленте, сделать вид, что у меня есть жизнь, пока я смотрю, как живут другие.

Зато на полке над столом стоял старый ноутбук.

Я купил его лет десять назад, когда ещё думал, что буду писать роман. Да, у каждого мужчины в Петербурге должен быть старый ноутбук, на котором он когда-то собирался написать роман, пока не выяснил, что легче прожить не свою жизнь, чем описать свою. Ноутбук давно почти не включался. Он лежал там как укор, покрытый пылью, между коробкой от роутера и стопкой документов, которые мы с Леной перекладывали с места на место с той нежностью, с какой люди перекладывают нерешённые проблемы.

Я достал его.

Крышка открылась с тихим пластиковым хрустом. Экран загорелся не сразу. Сначала он подумал. Потом вздохнул вентилятором. Потом показал старую заставку: фотографию Невы на рассвете, которую я когда-то поставил в приступе романтического идиотизма. На рабочем столе было полно папок: «РАБОТА», «ФОТО», «КНИГА», «РАЗОБРАТЬ», «РАЗОБРАТЬ_2», «НЕ ТРОГАТЬ».

Конечно, я открыл «НЕ ТРОГАТЬ».

Человек вообще слаб. Скажи ему «не трогать», и он обязательно полезет туда грязными пальцами, особенно если уже сорок два года трогает в своей жизни всё, кроме главного.

В папке были старые документы, фотографии, какие-то счета, скачанные книги, заметки, архивы переписок. Я щёлкал по ним без особой цели, как археолог, который копает собственную помойку и надеется найти там нечто благородное. Потом увидел файл с названием:

drafts_backup

Я не помнил, что это. Или делал вид, что не помнил. Такие вещи часто отличаются только интонацией.

Файл открылся в старом приложении, которое выглядело так, будто его создали люди, верившие в будущее и серые кнопки. На экране появилась таблица. Даты. Имена. Первые строки сообщений. Статус.

Я приблизился.

Семь строк.

Мать.

Отец.

Вера.

Сашка.

Лена.

Сын.

Я сам.

И напротив каждой строки одно и то же слово.

Не отправлено.

В кухне стало очень тихо. Даже холодильник, этот вечный бытовой циник, перестал гудеть на пару секунд. За окном по карнизу стучал дождь. Где-то внизу проехала машина, шины прошелестели по мокрому асфальту. Петербург за стеклом лежал тёмный, красивый, недовольный, как человек, которого разбудили не той правдой.

Я сидел перед старым ноутбуком и смотрел на семь сообщений, которые когда-то написал и не отправил.

Сначала я хотел закрыть файл.

Потом удалить.

Потом сказать себе, что это просто старый цифровой мусор, архивная пыль, эмоциональный секонд-хенд, которым нормальные люди не занимаются после полуночи, особенно если завтра надо переписать презентацию для клиники и добавить туда, мать его, больше живого.

Но курсор уже стоял на первой строке.

Мать.

Дата: восемь лет назад.

Первая строка: **«Мам, я устал быть удобным».**

Я прочитал её и почувствовал, как внутри что-то маленькое, давно засохшее, шевельнулось.

Не боль даже.

Скорее бумага.

Та самая, которую когда-то скомкали, сунули в карман и забыли вынуть перед стиркой.

Я положил пальцы на тачпад.

За стеной Лена перевернулась во сне. В комнате сын тихо засопел. На улице дождь продолжал делать вид, что он просто погода, а не форма допроса.

Я нажал на первое сообщение.

Экран мигнул.

И Петербург за окном погас.

Продолжаем во второй главе: держим Питер, объём, нерв и крючок. Здесь задача — не разгонять мистику слишком жирно, а сделать так, чтобы она вошла в бытовую кухню тихо и мерзко, как вода под дверь.

Глава 2

Старый ноутбук и папка «не трогать»

Экран мигнул, кухня исчезла, и на одну секунду я почувствовал не ужас, а глупую бытовую злость. Вот именно так, наверное, и встречаются сверхъестественные взрослые люди с ипотекой, гастритом и презентацией на утро: не падают на колени, не кричат «Господи!», не хватаются за крестик, которого у них нет, а думают: «Только не сейчас, пожалуйста, у меня завтра созвон».

Потом всё вернулось.

Кухня. Стол. Холодная лампа над раковиной. Мёртвый телефон рядом с запиской Лены. Ноутбук, который тихо гудел, будто внутри него проснулся маленький прокурор. За окном Петербург лежал мокрый, тёмный и совершенно равнодушный к тому факту, что у меня только что, кажется, выключили реальность.

Я убрал руку с тачпада.

Файл всё ещё был открыт.

Семь строк. Семь адресатов. Семь аккуратных могил в цифровой земле.

Мать.

Отец.

Вера.

Сашка.

Лена.

Сын.

Я сам.

Напротив каждой — одно и то же: **не отправлено**.

Мне стало смешно. Не громко. Внутри. Так смеются люди, которые внезапно обнаружили, что их жизнь, оказывается, была написана человеком с дурным вкусом к символам. Семь сообщений. Ну конечно. Почему не тринадцать? Почему не сорок восемь? Почему не «архив непрожитой херни, версия финальная_новая_точно_последняя»? Нет, семь. Красиво. Продаваемо. Будто у моей совести появился отдел маркетинга.

Я закрыл файл.

Открыл снова.

Семь строк.

Закрыл.

Открыл.

Семь строк.

Взрослый человек, если он не совсем потерял остатки достоинства, в такие моменты должен сделать что-то разумное. Например, лечь спать. Или проверить ноутбук антивирусом. Или выпить воды. Или позвонить кому-нибудь, но телефон лежал на столе мёртвым прямоугольником, а звонить с ноутбука людям среди ночи — это уже не тревожность, а начало городского фольклора.

Я встал, налил воды из фильтра. Вода текла медленно, с презрением, будто тоже устала участвовать в этой сцене. Выпил. Поставил стакан в раковину, хотя мог бы сразу в посудомойку, но посудомойка была слишком цивилизованным решением для человека, у которого на экране только что высветилась переписка с собственной трусостью.

На холодильнике висел листок с расписанием сына: английский, бассейн, робототехника, стоматолог, родительское собрание. Лена писала всё цветными маркерами, потому что, видимо, если раскрасить хаос, он начинает выглядеть как план. Ниже магнитом была прижата школьная фотография: Арсений в белой рубашке, улыбка натянутая, глаза уже чуть взрослые, волосы уложены так, как ему явно не нравилось. В восемь лет человек ещё не умеет сказать: «Не трогайте мою голову», поэтому взрослые делают с ним что хотят и называют это «для фото».

Я смотрел на него и думал, что однажды он тоже, возможно, будет сидеть на кухне после полуночи, смотреть на какой-нибудь идиотский экран будущего и понимать, что половину важных слов проглотил, потому что отец показал ему, как это делается. Не лекцией. Не травмой в красивой упаковке. Просто ежедневным примером: молчи, работай, шути, устал — значит, нормальный, больно — значит, потерпи.

От этой мысли захотелось включить свет везде, разбудить Лену, сына, соседей, город, президента, дворника и сказать: «Стоп. Ошибка. Давайте откатим лет пятнадцать назад, я не туда нажал». Но в жизни кнопка «отменить» есть только у документов, да и там иногда не срабатывает.

Я вернулся к ноутбуку.

Первую строку я больше не нажимал. Смотрел. Читал. Отводил глаза. Снова смотрел.

Мам, я устал быть удобным.

Восемь лет назад.

Я хорошо помнил тот год. Не целиком, конечно. Память вообще не хранит жизнь как фильм. Она хранит её как грязный ящик на балконе: один детский носок, старый чек, крышка от чего-то давно выброшенного, фотография, где все ещё живы и поэтому немного невыносимы. Тот год пах ремонтом, дешёвым ламинатом, новым браком и материнскими звонками в самое неподходящее время.

Мы с Леной тогда только переехали в квартиру на Васильевском. Не в красивую часть, где фасады, туристы и кофе за цену маленькой моральной уступки, а туда, где ветер с Финского залива объясняет человеку его место в пищевой цепочке. Дом был старый, с парадной, которая явно пережила революцию, перестройку, капитальный ремонт по бумагам и семь поколений жильцов, плюющих на лестнице. В квартире текли окна. На кухне не закрывалась форточка. В ванной жила чёрная плесень с характером и правом собственности.

Мы были счастливы.

Или делали что-то очень похожее.

Лена ходила по квартире босиком, в старой футболке, с рулеткой в руке и командовала стенами. Тут будет полка. Здесь зеркало. Это выбросим. Это покрасим. Это не трогай, оно мне нравится. Я тогда смотрел на неё и думал, что, может быть, жизнь всё-таки не только про усталость и необходимость. Может быть, у неё есть ещё эта глупая часть, где двое спорят о цвете штор так, будто от этого зависит устройство мира.

Мать звонила каждый вечер.

— Вы поели?

— Поели.

— А что ели?

— Мам, нормально.

— Я просто спрашиваю.

— Я понимаю.

— Ты какой-то раздражённый.

— Я не раздражённый.

— Ну конечно, я же ничего не могу сказать.

— Мам...

— Всё, всё, молчу. Я же теперь лишняя.

Эта фраза была её маленьким ядерным чемоданчиком. «Я же теперь лишняя». Она проносила её тихо, почти нежно, и в комнате сразу вырастал гриб стыда. После этого я мог быть прав сколько угодно — всё равно становился мальчиком, который ударил мать лопаткой по сердцу.

В тот вечер восемь лет назад мы с Леной собирали шкаф. Сборка шкафа — лучший тест на брак, потому что там сразу выясняется всё: кто умеет читать инструкцию, кто врёт, что умеет, кто держит деталь не той стороной, кто пассивно ненавидит человечество, кто в какой момент скажет «давай вызовем мастера», а кто примет это как личное оскорбление.

Я держал боковину, Лена искала шестигранник, который только что лежал рядом, но исчез, как исчезает молодость, деньги и вера в разумное устройство вселенной. Телефон звонил третий раз.

Мать.

Я сбросил.

Он зазвонил снова.

Лена подняла глаза.

— Ответь уже.

— Не хочу.

— Тогда не отвечай.

Она сказала это спокойно, без упрёка. Но я всё равно услышал упрёк, потому что у вино-ватого человека любой звук работает против него.

Телефон звонил.

Я взял.

— Мам, я занят.

— Чем?

— Мы шкаф собираем.

— В такое время?

Было восемь вечера. В мире моей матери восемь вечера было временем, когда нормальные люди уже должны были поесть, убрать, помыть посуду, включить телевизор и морально подготовиться к смерти.

— Да, мам, в такое время.

— Я просто хотела узнать, как вы. Ты вообще теперь сам не звонишь.

Я закрыл глаза.

Лена стояла рядом с дверцей шкафа и смотрела не на меня, а на инструкцию. Очень демонстративно не на меня. Это был её способ дать мне пространство. Или не вмешиваться.

Или не видеть, как взрослый мужик превращается в школьника, которого вызвали к доске без подготовки.

— Мам, всё нормально.

— У тебя всегда всё нормально. А потом я узнаю последняя.

— Что ты узнаёшь последняя?

— Ничего. Забудь.

Вот это «забудь» никогда не означало «забудь». Оно означало: «Запомни, мучайся, расшифровывай, докажи, что любишь». Моя мать не была плохим человеком. Это важно. Плохих людей легче ненавидеть, а значит, легче от них защищаться. Она была уставшей женщиной с тревогой вместо внутреннего органа. Она любила меня так, как умела: через контроль, суп, обиды, звонки, советы, пакеты с едой, которые я не просил, и фразу «я же мать».

— Мам, я правда занят.

— Хорошо. Не буду мешать.

И повесила трубку.

Я стоял с телефоном в руке, как идиот. Лена молчала. Шкаф молчал. Даже шестигранник, эта маленькая металлическая сволочь, не находился, чтобы разрядить обстановку.

Тогда я написал ей сообщение. Не сразу. Минут через двадцать. Лена ушла в ванную, я сидел на полу среди досок, шурупов и картонной пыли, открыл чат и напечатал:

Мам, я устал быть удобным. Я устал всё время доказывать, что я хороший сын. Я тебя люблю, но мне тяжело от твоих звонков, обид и этого вечного чувства, что я кому-то должен даже своим дыханием. Я не бросил тебя. Я просто вырос. Пожалуйста, дай мне жить не против тебя, а отдельно от тебя.

Я помню, как смотрел на это сообщение. Оно было длинное, кривое, местами жестокое, местами жалкое, но настоящее. Настоящие сообщения вообще редко бывают красивыми. Они торчат углами. В них слишком много «я», мало дипломатии и всегда есть риск, что после отправки ты уже не сможешь вернуться к прежней версии себя.

Я почти нажал.

Потом представил, как мать сидит на своей кухне в старом халате, читает это, снимает очки, кладёт телефон на стол и начинает плакать. Не театрально. Настояще. И в этом представлении я был не взрослым человеком, который пытается поставить границу, а сыном-убийцей с мокрыми руками.

Я стёр всё, кроме первой фразы.

Потом стёр и её.

Написал: «Мам, всё хорошо. Просто устал. Позвоню завтра».

Отправил.

И, конечно, не позвонил.

Теперь эта первая фраза лежала передо мной на экране через восемь лет, как невынутый осколок.

Я провёл пальцем по тачпаду. Строка подсветилась. Слева появилась маленькая иконка конверта. Старое приложение вело себя нагло, будто знало, что я куда не денусь.

Я нажал правой кнопкой.

Появилось меню:

Открыть.

Удалить.

Отправить.

Я откинулся на спинку стула.

— Нет, — сказал я вслух.

Квартира промолчала.

— Даже не начинай.

Ноутбук гудел. Дождь за окном шуршал по стеклу. Где-то в трубах кашлянула вода. Петербург вообще любит подыгрывать, когда человеку становится нехорошо: подбросит скрип, каплю, шаги наверху, гудок машины за окном, и вот ты уже не мужчина на кухне, а персонаж, которому сейчас покажут то, что он старательно прятал от самого себя.

Я закрыл меню.

Потом снова открыл.

Открыть. Удалить. Отправить.

Слово «отправить» выглядело слишком просто. В нём не было предупреждения: «После нажатия ваша жизнь может стать менее удобной». Не было галочки: «Я осознаю, что не смогу снова притвориться человеком, которому всё равно». Не было всплывающего окна: «Вы точно хотите перестать быть трусом?»

Просто отправить.

Я нажал «Удалить».

Экран мигнул. Появилось окно:

Удалить черновик?

Ниже две кнопки:

Да.

Нет.

Я нажал «Да».

Ничего не произошло.

Черновик остался.

— Да вы издеваетесь, — сказал я.

Попробовал ещё раз.

Удалить черновик?

Да.

Ничего.

Файл смотрел на меня с тем спокойствием, с каким старые обиды смотрят из семейных фотографий. Их нельзя удалить правой кнопкой. Я, конечно, всегда подозревал, что жизнь плохо оптимизирована, но чтобы настолько.

Я хлопнул крышкой ноутбука.

И тут же пожалел, потому что в тишине стало хуже.

Когда экран исчез, вместе с ним исчез и повод делать вид, что проблема техническая. Осталась кухня. Остался я. Остались семь сообщений где-то внутри закрытого ноутбука и, что гораздо хуже, внутри меня. Потому что любой архив страшен не тем, что он хранится на диске, а тем, что ты всё это время носил его в себе и просто не открывал папку.

Я сидел в темноте. Лампа над раковиной гудела. На столе лежала записка Лены: «Ужин в холодильнике». Я взял её снова. Почерк у неё был быстрый, немного наклонённый, с резкими хвостиками букв. Такой почерк бывает у людей, которые долго старались быть мягкими, а потом поняли, что мир от этого не становится аккуратнее.

Когда мы только начали жить вместе, она писала мне смешные записки. Не потому что телефонов не было, а потому что ей нравилось оставлять бумагу. На холодильнике, в кармане куртки, в книге, которую я читал. «Купи хлеб, герой». «Не забудь зонт, упрямый идиот». «Я съела твою шоколадку. Выживешь». Я находил их и улыбался, как человек, которому кто-то тайно подложил в день маленький кусок тепла.

Потом записки стали короче.

«Молоко».

«Родительское в 18:30».

«Оплати интернет».

«Ужин в холодильнике».

Любовь не исчезает в один день. Она сначала теряет прилагательные.

Я положил записку обратно.

Потом всё-таки открыл ноутбук.

Иногда человек делает правильный выбор не потому, что стал смелым, а потому что устал бегать по комнате от одного и того же стула.

Файл был на месте. Семь строк. Я открыл первый черновик не через меню, а двойным нажатием.

Открылось окно сообщения.

Вверху: **Мама.**

Дата: **14 ноября, 8 лет назад. 21:37.**

Текст:

Мам, я устал быть удобным.

И всё.

Странно. Я же помнил длинное сообщение. Помнил каждую интонацию, каждый кривой оборот, даже то, как стирал слово «должен» и заменял на «обязан», потом обратно, потому что «обязан» звучало слишком прокурорски. А здесь осталась только первая фраза. Обрубок. Кость без мяса. Но, может быть, именно она и была главной. Всё остальное я тогда написал не ей, а адвокату внутри своей головы.

Курсор мигал после точки.

Я не трогал клавиатуру.

Потом на экране появилась новая строка.

Сначала я решил, что задел клавишу. Но руки лежали на столе.

Буквы возникали медленно, будто их печатал кто-то по ту сторону экрана.

Ты правда хочешь знать, что было бы, если бы отправил?

Я вскочил так резко, что стул ударился о стену. В спальне что-то шевельнулось. Я замер. Прислушался. Лена не вышла. Сын не проснулся. Только сосед сверху прошёл по полу тяжёлыми пятками человека, который уверен, что под ним живут не люди, а акустическая ошибка.

На экране фраза оставалась.

Ты правда хочешь знать, что было бы, если бы отправил?

Я стоял над ноутбуком, в одной рубашке, с мокрыми носками, рядом с мёртвым телефоном и холодной кухонной запиской, и вдруг понял, что страх — штука очень конкретная. Не абстрактная, не философская. Он живёт в теле. В горле. В пальцах. В животе, где будто открыли дверцу морозилки.

Можно было закрыть ноутбук. Выдернуть зарядку. Разбудить Лену. Сказать: «Посмотри, у меня тут компьютер разговаривает». Отличный ход для брака, в котором и так не хватает доверия. Можно было выбросить ноутбук в окно. Правда, с пятого этажа он мог кого-нибудь убить, а объяснять полиции, что я защищался от старого черновика, было бы утомительно.

Я сел.

Фраза ждала.

Под ней появился курсор.

Я набрал:

Нет.

Секунду ничего.

Потом экран ответил:

Врёшь.

Я засмеялся. На этот раз вслух. Тихо, коротко, почти безумно. Потому что если даже старый ноутбук начал разговаривать со мной как Лена во время ссоры, значит, цифровая революция окончательно зашла не туда.

Я стёр «нет».

Написал:

А если не хочу?

Ответ пришёл сразу:

Ты уже открыл.

Вот это было подло. В стиле Петербурга. Здесь вообще всё так: сначала ты просто заходишь в парадную переждать дождь, а потом выясняется, что живёшь там десять лет, женился, завёл ребёнка, набрал кредитов, перестал звонить друзьям и начал различать оттенки сырости по запаху.

Я посмотрел на строку **«Мам, я устал быть удобным»**.

Мать тогда жила на Гражданке. Двушка с ковром, который пережил моего отца, мой пубертат, две смены власти в доме и, кажется, наше общее представление о счастье. На кухне у неё всегда что-то кипело. Суп, компот, обида. Она умела готовить так, будто пыталась накормить не человека, а дыру в собственной жизни. «Ешь, ты худой». «Возьми с собой». «Я всё равно выброшу». Потом я тащил домой пакеты с котлетами, банками, огурцами, яблоками, которые никто не ел, и чувствовал себя не любимым, а грузчиком её тревоги.

Если бы я тогда отправил сообщение, что бы изменилось?

Она бы заплакала. Обиделась. Позвонила. Сказала бы, что я жестокий. Что она всё для меня. Что я не понимаю, каково ей одной. Что Лена меня настроила. Что я ещё пожалею. Что мать не выбирают. Что она не железная. Что она просто скучает.

А потом?

Потом, может быть, ничего.

А может быть, я впервые не поехал бы к ней в воскресенье только потому, что она обиделась в пятницу.

Может быть, не взял бы очередной пакет с едой, чтобы не выглядеть неблагодарным.

Может быть, сказал бы: «Мам, я люблю тебя, но не могу быть твоим единственным смыслом».

Может быть, научился бы говорить это раньше, чем сам стал для Лены человеком, рядом с которым всё время нужно угадывать настроение.

Может быть.

Это слово — мерзкая приманка. На него клюют все, кто не смог прожить вовремя.

Курсор мигал.

Я положил пальцы на клавиатуру.

Что будет, если я нажму отправить сейчас? — написал я.

Экран ответил:

Не сейчас. Тогда.

Я перечитал. Не понял. Или понял слишком быстро.

— Нет, — сказал я.

На этот раз уже не ноутбуку. Себе.

Но курсор ждал.

Внизу окна появилась кнопка.

Отправить

Она была маленькая, серая, почти невинная. Такими кнопками обычно соглашаются с пользовательским соглашением, не читая. А потом всю жизнь живут по условиям, которые сами не видели.

Я встал из-за стола и пошёл к окну. Раздвинул штору. Дождь стекал по стеклу тонкими дорожками. В доме напротив горели несколько окон. В одном мужчина в майке ел из кастрюли. В другом женщина гладила рубашку. В третьем кто-то стоял у окна в темноте, и на секунду мне показалось, что он смотрит прямо на меня. Потом понял, что он просто курит.

Петербург никогда не спит полностью. Он только делает вид, что уснул, чтобы люди выдали лишнее.

Я вернулся.

Сел.

Посмотрел на кнопку.

Мозг выдал десяток разумных мыслей. Что это невозможно. Что это сон. Что я переутомился. Что старые ноутбуки не переносят людей в прошлое, максимум — ломают драйвер звука. Что надо лечь. Что завтра я проснусь, телефон всё ещё будет мёртв, а ноутбук окажется просто ноутбуком. Что, возможно, мне пора к врачу, но только не к тому, для которого мы сегодня делали презентацию.

Но тело уже знало другое.

Иногда правда приходит не как убеждение, а как запах дыма. Ты ещё не видишь пожара, но уже понимаешь: что-то горит.

Я нажал.

Сначала ничего не произошло.

Потом сообщение «**Мам, я устал быть удобным**» дрогнуло, как будто его тронули ветром.

Статус изменился.

Отправлено.

И в ту же секунду кухня исчезла.

Не эффектно. Не с белой вспышкой, не с музыкой, не с порталом, как в плохом сериале. Просто мир провалился куда-то вниз, а я остался на месте, будто пол подо мной передумал быть полом.

На секунду я почувствовал запах мокрого дерева, пыли, дешёвого ламината и нового клея.

Потом услышал голос Лены:

— Герман, ты шестигранник видел?

Я открыл глаза.

Я сидел на полу в нашей старой квартире на Васильевском. Передо мной лежали доски разобранного шкафа, пакет с шурупами, инструкция, похожая на карту военной операции, и телефон в моей руке.

На экране светился чат с матерью.

Сообщение было отправлено.

Мам, я устал быть удобным.

И под ним мигали три точки.

Мать печатала ответ.

Глава 3

Мам, я устал быть удобным

Мать печатала ответ.

Три точки прыгали на экране, как маленькие белые насекомые, и я смотрел на них с ужасом человека, который сам поджжёт сарай, а теперь удивляется, почему стало светло. Сообщение было отправлено. Не задумано, не написано, не сохранено в черновиках для будущей трусости, а именно отправлено. Моя первая фраза, вырванная из восьмилетнего захоронения, ушла в ночь к женщине, которая умела одним вздохом сделать из взрослого сына виноватого школьника возле разбитой вазы.

Я сидел на полу среди деталей шкафа, в старой квартире на Васильевском, и чувствовал под ладонью шершавую доску. Доска была настоящая. Шурупы были настоящие. Инструкция с человеком без лица, который бодро соединял деталь А с деталью Б, была настоящая. Даже идиотский шестигранник, из-за которого началась эта бытовая археология, лежал наконец у моей ноги, хотя минуту назад его не было. Или восемь лет назад он там и лежал. Вопрос времени внезапно стал не философским, а напольным.

Из ванной донёсся голос Лены:

— Гер, ты нашёл?

Я открыл рот, но вместо ответа посмотрел на свои руки. Они были моложе. Не сильно, без рекламной наглости «минус восемь лет за семь дней», но кожа на костяшках была ровнее, пальцы не так устало сжимались, на запястье ещё не было маленького шрама от стекла, которое я разбил прошлой зимой, когда Лена сказала: «Ты вообще меня слышишь?» — а я решил, что лучше помыть бокал. Очень по-мужски. Очень зрело. Очень, сука, эффективно.

— Герман? — крикнула Лена.

Я поднял голову.

Она вышла из ванной в старой футболке с облезлым принтом, с мокрыми волосами, собранными в пучок, и с выражением женщины, которая уже начала подозревать, что вышла замуж не за человека, а за сложный бытовой прибор без инструкции. Ей было тридцать. Или около того. Молодая Лена. Та самая Лена, которая ещё могла смеяться посреди ссоры, если у меня вдруг падала доска на ногу и я начинал материться так творчески, будто защищал диссертацию по ненормативной лексике. Та Лена, которая ещё писала записки «купи хлеб, герой» и целовала меня в затылок, когда проходила мимо. Та Лена, которая ещё не научилась смотреть сквозь меня, как через грязное окно.

Она увидела моё лицо и нахмурилась.

— Что случилось?

Я хотел сказать: «Я, кажется, провалился на восемь лет назад через старый ноутбук и только что отправил матери сообщение, которое испортит нам вечер, возможно, жизнь и точно сборку шкафа». Но даже в молодости у меня иногда работал инстинкт самосохранения.

— Ничего, — сказал я.

Великая русская фраза. Её надо печатать на гербе каждой семьи. Ничего. То есть всё, но давай не будем доставать это на свет, потому что свет дорогой, а мы устали.

Лена посмотрела на телефон в моей руке.

— Опять мама?

Я кивнул.

— Что на этот раз?

Я не ответил. На экране всё ещё прыгали три точки. Мать печатала долго. Это было плохим знаком. Короткие ответы матери обычно означали обиду. Длинные — операцию без наркоза.

Лена подошла ближе и села на корточки рядом. Она ещё умела садиться рядом, а не напротив. Это важная разница. Рядом — значит, мы пока одна сторона. Напротив — значит, стол уже стал границей.

— Ты бледный.

— Я всегда такой.

— Нет. Обычно ты серый. Сейчас бледный.

Я почти улыбнулся. Господи, какая же она была живая. Не идеальная, не нежная фея с кухни, не женщина из чужого поста про «мой муж — мой лучший друг». Живая. Резкая. Упрямая. Смешная. С волосами, которые вечно лезли в лицо. С привычкой пить чай из кружки, где было написано «Не беси меня», хотя бесили её все, включая чайник. Я вдруг увидел её такой, какой давно перестал видеть: не как функцию дома, не как человека, которому надо ответить «еду», а как женщину, с которой я когда-то хотел построить жизнь, а не систему взаимного молчания.

Телефон завибрировал.

Ответ пришёл.

Что значит удобным?

Всего три слова.

Я перечитал их несколько раз. Три слова матери были опаснее длинного письма. В них ещё не было атаки, но уже была разведка. Как будто она выглянула из окна крепости и спросила: «Кто там посмел шевелиться под стенами?»

Лена протянула руку.

— Покажешь?

Я инстинктивно убрал телефон.

Она замерла. Не обиделась сразу, нет. Просто лицо чуть изменилось. С него убрали маленький свет. Так бывает, когда в комнате выключают одну лампу, и вроде всё ещё видно, но уже неуютно.

— Ясно, — сказала она.

— Лен...

— Нет, нормально. Это же у вас семейное. Закрытый клуб.

Вот. Первый удар. Маленький. Почти шутка. Но в нём уже было будущее. Все наши будущие «не начинай», «я просто спросила», «делай как знаешь», «ты опять уходишь в себя», «давай потом» уже стояли где-то за её спиной в очереди, как люди в поликлинике.

— Я написал ей, что устал быть удобным, — сказал я.

Лена моргнула.

— Ты?

— Я.

— Сам?

— Нет, меня наняли враги семьи.

Она посмотрела на меня внимательно, и в этом взгляде было не удивление даже, а осторожная надежда. Очень опасная штука. Хуже надежды ничего нет. Когда человек на тебя надеется, он как будто вручает тебе стеклянный предмет и говорит: «Только не урони». А ты уже знаешь, что руки у тебя растут из той области характера, где лучше не хранить хрупкое.

— И что она?

— Спросила, что значит удобным.

Лена села на пол рядом со мной. На доску. Даже не поморщилась.

— Ответь.

Я засмеялся.

— Конечно. Сейчас. Просто возьму и отвечу. Может, ещё встану на стул и признаю чувства?

— А почему нет?

— Потому что это моя мать.

— Именно.

Иногда Лена умела сказать одно слово так, что оно становилось судебным заключением.

Телефон лежал у меня в руке. Курсор мигал в поле ответа. Я смотрел на него и чувствовал, как всё тело начинает торговаться. Можно ответить мягко. Можно отшутиться. Можно написать: «Да ничего, мам, неудачно выразился». Можно свернуть обратно в привычный коридор, где стены обиты ватой и чувством вины. Можно спасти вечер. Сборку шкафа. Ленину надежду. Мамину тревогу. Себя от разговора, который уже много лет стоял в прихожей, не разуваясь.

Я начал печатать:

Я не это имел в виду.

Стер.

Написал:

Я просто устал.

Стер.

Лена смотрела молча.

— Не надо так на меня смотреть.

— Как?

— Как будто я сейчас обезвреживаю бомбу зубной щёткой.

— А разве нет?

Она была права, и это раздражало. В браке вообще труднее всего пережить не то, что человек неправ. С этим можно работать. Самое унижительное — когда он прав, а у тебя нет даже красивой контратаки, только плохой характер и мокрые носки.

Я положил телефон на пол между нами.

— Я не знаю, что писать.

Лена вздохнула, взяла пакет с шурупами, стала раскладывать их по кучкам. Это была её манера справляться с тревогой: упорядочить хотя бы то, что помещается в ладони.

— Напиши, что устал каждый раз чувствовать себя виноватым, когда живёшь отдельно от неё.

— Прекрасно. Может, сразу приложить адрес психотерапевта и счёт за будущие годы?

— Герман.

— Что?

— Ты можешь хоть один раз не превратить важный разговор в стендап у собственной могилы?

Я хотел ответить. Очень хотел. Уже даже открыл рот. Внутри стояла очередь из сарказма, обиды и пары удачных формулировок. Но я увидел её пальцы — она перебирала шурупы и один маленький деревянный шкант, крутила его, как сигарету, хотя не курила. Нервничала. За меня. За нас. За то, что сейчас я снова отступлю, и это будет не просто моя семейная история, а ещё один кирпич в стену между нами.

Я взял телефон.

Написал:

Мам, это значит, что я устал всё время бояться тебя расстроить. Я тебя люблю. Но мне тяжело, когда любой мой отказ звучит для тебя как предательство.

Я перечитал. Лена тоже.

— Нормально? — спросил я.

— Нормально.

— Звучит как из брошюры.

— Герман.

— Всё, молчу.

Я нажал отправить, пока не передумал.

Сообщение ушло.

В квартире стало так тихо, будто шкаф, ламинат, плесень в ванной и вся Васильевская линия задержали дыхание. Я смотрел на экран. Лена смотрела на меня. Три точки не появлялись. Мать не печатала.

Это было хуже.

Я вспомнил её кухню. На Гражданке, девятый этаж, дом с вечным запахом варёной капусты в подъезде и лифтом, который закрывался так резко, будто ненавидел людей персонально. Маленькая кухня. Стол у окна. Клеёнка с лимонами. Зелёная занавеска, которую она стирала каждую весну, хотя разницы никто не видел. Банки с крупами, подписанные её круглым почерком. Магнит из Сочи. Фотография меня в школьной форме, где я стоял с букетом гладиолусов и лицом ребёнка, уже подозревающего, что праздник — это когда взрослые заставляют тебя терпеть ради фотографий.

Мать, наверное, сидела там сейчас. В халате. Очки на носу. Телефон в руке. Читала моё сообщение и не понимала, кто дал мне право выйти из роли.

Я не был несчастным ребёнком. Вот в чём ловушка. Если бы меня били, запирали в чулане, кормили злостью и дешёвой водкой, я мог бы потом красиво предъявить миру травму, как удостоверение. Но у меня было нормальное детство. Суп. Шапка. Уроки. Море один раз в три года. Мать, которая работала, уставала, тащила сумки, проверяла дневник, гладила рубашки, сидела со мной, когда я болел, и говорила: «Я всё для тебя».

И именно это «всё для тебя» становилось верёвкой. Мягкой. Тёплой. Почти любимой. Ею не душили. Ею привязывали.

Телефон завибрировал.

Мать написала:

Я просто скучаю.

Я закрыл глаза.

Вот оно.

Не «ты прав». Не «давай поговорим». Не «я понимаю». А маленькая белая салфетка поверх раны: я просто скучаю. И ты уже не имеешь права злиться. Потому что скучать — это же любовь. А против любви у нас в стране нет нормальной защиты. Скажешь «мне тяжело» — неблагодарный. Скажешь «мне нужно пространство» — эгоист. Скажешь «не звони каждый день» — убил мать, распял семейные ценности, плюнул в суп.

Лена тихо сказала:

— Не сдавай назад.

— Я ещё ничего не сделал.

— Ты уже хочешь.

Она знала меня слишком хорошо. В этом главная опасность близости. Человек постепенно изучает, в каком месте у тебя спрятан аварийный выход, и в решающий момент просто становится перед ним.

Я написал:

Я знаю, мам. Но когда ты скучаешь, я почему-то чувствую не любовь, а долг.

Палец завис над кнопкой.

Эта фраза была уже другой. Не аккуратной. Не терапевтичной. Не из брошюры. В ней был я. Усталый, злой, виноватый, любящий, раздражённый, сорок процентов сын, шестьдесят процентов беглец.

Лена не сказала ничего.

Я нажал отправить.

Сразу захотелось умереть. Не всерьёз. По-бытовому. Как хочется умереть после того, как отправил начальнику письмо с опечаткой в его имени или случайно лайкнул старую фотографию человека, за которым следил ночью из чисто исследовательских соображений. Тело просило отменить. Вернуть. Удалить у всех. Позвонить и сказать: «Мам, это не я, это вирус, нейросеть, американцы, неправильное питание».

Но сообщение ушло.

Ответа не было долго.

Мы с Леной сидели на полу среди досок шкафа, как выжившие после небольшого мебельного взрыва. За окном шумел ветер. Где-то в стене стучали трубы. Васильевский остров жил своей влажной островной жизнью: кто-то возвращался из бара, кто-то ругался из-за парковки, кто-то в соседнем доме вешал шторы и думал, что начинает всё сначала. Петербург снаружи был чёрный, мокрый, но тогда — восемь лет назад — мне казалось, что у нас ещё есть шанс не стать теми людьми, которыми мы стали.

Лена вдруг взяла мою руку.

Просто так. Без слов. Между большим и указательным пальцем у неё был след от шестигранника — красная полоска. Я смотрел на неё и думал, что вот она, близость. Не свечи, не ужин, не курортная фотография, где все улыбаются, потому что уже оплачено. А два человека сидят на полу, рядом с недособранным шкафом, один пытается впервые не соврать матери, второй держит его за руку, чтобы он не сбежал обратно в удобную сыновью клетку.

Телефон завибрировал.

Мать:

Я не знала, что тебе так тяжело.

Я прочитал и почему-то разозлился.

Очень сильно.

Не потому что она написала плохо. Наоборот. Это был почти хороший ответ. Но именно «почти» меня и ударило. Я хотел, чтобы она поняла всё сразу, идеально, без ошибок. Чтобы сказала: «Прости, сын, я была тревожной, я путала любовь с контролем, ты свободен». Хотел сказочную мать из учебника по взрослению. А моя настоящая мать сидела на Гражданке с телефоном, очками и зелёной занавеской и писала, как умела: не знала.

А я ведь тоже не знал. Не знал, как ей сказать. Не знал, как не превратить свою боль в обвинение. Не знал, как любить человека и одновременно не давать ему жить внутри твоей грудной клетки с правом постоянной прописки.

Я набрал:

Я сам не знал, как сказать.

Отправил.

Ответ пришёл почти сразу:

Ты мог бы сказать раньше.

Я хмыкнул.

— Вот теперь узнаю маму.

Лена сжала мою руку.

— Ответ без защиты.

— Это как?

— Не знаю. Просто не доставай меч.

Я посмотрел на неё.

— Ты сейчас очень мудрая для человека, который потерял шестигранник.

— Я его нашла. Так что теперь духовно выше тебя.

И я рассмеялся. Нормально. По-настоящему. Смех выскочил внезапно, как пробка из бутылки. Лена тоже улыбнулась. И на секунду эта старая квартира с плесенью, деталями шкафа и материнским кризисом в телефоне стала почти домом в самом большом смысле слова: местом, где тебя видят в момент позора и не уходят.

Я написал матери:

Мог. Но боялся.

Две фразы. Десять букв и точка. Смешно, сколько лет можно таскать в себе то, что помещается в одно сообщение.

Мать не отвечала минут пять.

За эти пять минут я успел собрать в голове три варианта её инфаркта, один приезд скорой, два обвинения в неблагодарности, похороны нашего общения и сцену, где я стою у её двери с пакетом мандаринов, а она не открывает, потому что сын оказался моральным иностранным агентом.

Потом пришёл ответ:

Я тоже боюсь.

Я долго смотрел на экран.

Лена не спрашивала. Просто ждала.

Чего? — написал я.

Мать:

Что стану тебе не нужна.

И вот тут вся моя злая внутренняя прокуратура, которая уже разложила по папкам её вину, контроль, обиды, звонки и пакеты с едой, вдруг осталась без голоса. Потому что за всем этим стояла не монстр-мать, не манипулятор с клеёнкой, не генерал кухни, а женщина, которая боялась стать лишней в жизни единственного сына. Женщина, у которой любовь вытекала через тревогу, потому что других дырок в её системе не предусмотрели.

Это не оправдывало. Но объясняло.

А объяснение — неприятная вещь. Оно мешает удобно ненавидеть.

Я вспомнил, как она стояла у окна в больнице, когда у меня в детстве была пневмония. Декабрь. Мне девять. Я лежу под одеялом, потный, злой, с градусником под мышкой, а она смотрит в окно на больничный двор и думает, что я сплю. У неё в руке пакет с апельсинами. Один апельсин она чистит мне потом маленькими кусочками, снимая белые волокна почти с религиозной тщательностью, будто от этого зависит моё будущее. Тогда я был её миром. Это тяжёлая должность для ребёнка. Но и для матери, если честно, тоже не санаторий.

Я написал:

Ты мне нужна. Но не как человек, которому я должен всё время доказывать, что не бросил.

Отправил.

Тишина.

Лена отпустила мою руку, встала, пошла на кухню. Квартира была маленькая, поэтому «пошла на кухню» означало сделала три шага в сторону раковины. Она включила чайник.

— Чай будешь?

— Буду.

— С сахаром?

— Я не пью с сахаром.

— Сейчас будешь.

Я не стал спорить. Есть моменты, когда сахар — не вкус, а медицинская помощь.

Мать ответила, когда чайник начал шуметь.

Я попробую. Но ты тоже звони иногда не потому, что надо. А потому что сам хочешь.

Я прочитал. Потом ещё раз.

Это была не победа. Не освобождение. Не голливудская сцена, где сын и мать наконец обнялись на фоне заката, а зрители вытерли слезу и пошли покупать попкорн. Это было кривое, маленькое, неловкое перемирие. С кучей будущих срывов, старых привычек, обид, воскресных звонков, пакетов с едой и фраз «я же просто спросила». Но в этом перемирии впервые было место мне.

Я ответил:

Договорились.

И сразу почувствовал, как много в этом слове лжи и надежды одновременно. Договорились. Люди вообще часто договариваются на берегу, а потом всё равно тонут посреди реки. Но иногда даже плохой договор лучше хорошего молчания.

Лена поставила передо мной кружку. Чай был слишком сладкий.

— Ну что? — спросила она.

— Кажется, я не умер.

— Не обольщайся. Шкаф ещё не собран.

Мы засмеялись.

Потом собирали шкаф до полуночи. Ругались. Искали шурупы. Один раз Лена сказала, что я держу полку как человек, у которого нет будущего в инженерии. Я сказал, что зато у меня есть богатый внутренний мир и небольшая психотравма. Она сказала, что внутренний мир пусть держит дверцу ровнее. В какой-то момент шкаф всё-таки встал. Кривовато, но встал. Мы смотрели на него как на первенца, которого, возможно, не примут в приличное общество, но он наш.

Перед сном я написал матери первым:

Спокойной ночи, мам.

Она ответила:

Спокойной ночи, сынок.

Без обиды. Без крючка. Без дополнительного пакета вины. Просто спокойной ночи.

А потом был резкий звук.

Не в квартире. Во мне.

Как будто кто-то хлопнул дверью между временем и мной.

Я моргнул.

И снова сидел на нашей нынешней кухне.

Темнота. Старый ноутбук. Мёртвый телефон. Записка Лены: «Ужин в холодильнике». За окном дождь. Петербург, который не объясняет, а просто кладёт перед тобой мокрые улики.

Я посмотрел на экран.

Первый черновик изменился.

Теперь напротив строки **Мать** стоял новый статус:

Отправлено.

Рядом появилась маленькая дата.

14 ноября, 8 лет назад.

Я вскочил, схватил мёртвый телефон, нажал кнопку — бесполезно. Он не ожил. Тогда я открыл на ноутбуке старую почту, социальные сети, всё, что могло хоть как-то подтвердить, что это не приступ, не сон, не плохо переваренная гречка с элементами мистики.

Ничего.

Мир выглядел прежним.

Почти.

На холодильнике висел магнит, которого я не помнил.

Синий, облупленный, с надписью: **Гражданка — тоже любовь.**

Я снял его и долго держал в руке. В памяти всплыло: мать купила его в каком-то дурацком киоске у метро и подарила мне через месяц после того разговора. Смеялась, смущалась, сказала: «Чтобы ты помнил, что у тебя там родина». Я тогда поставил его на холодильник. Лена сказала: «Ну всё, теперь у нас высокий дизайн». Мы смеялись. Я помнил это.

Я помнил то, чего не было.

И то, что было.

Сразу две версии жизни сидели во мне, как два пассажира на одном месте в ночном поезде. Один ехал молча, другой смотрел в окно и не понимал, почему пейзаж изменился.

Я открыл переписку с матерью в старом архиве. Там действительно была та ночь. Сообщения. Все. Неловкие, кривые, живые.

Последнее:

Спокойной ночи, сынок.

Я закрыл глаза.

На секунду мне захотелось позвонить ей. Прямо сейчас. Ночью. Сказать что-то нормальное. Не большое. Не судьбоносное. Просто: «Мам, ты как?» Но телефон был мёртв. А с ноутбука звонить ей в два часа ночи было бы слишком даже для человека, который только что вернулся из альтернативного прошлого через мебельный ад.

Я посмотрел на список.

Осталось шесть сообщений.

Отец.

Вера.

Сашка.

Лена.

Сын.

Я сам.

Кухня казалась маленькой. Воздух — густым. Петербург за окном шуршал дождём, как старый архивариус, перебирающий чужие дела.

Я закрыл ноутбук.

Потом открыл снова.

Потому что человек, который один раз узнал, что его жизнь могла быть другой, уже не может спокойно лечь спать на прежнюю простыню.

Курсор стоял на второй строке.

Отец.

Первая фраза черновика:

Пап, я всё ещё жду, что ты зайдёшь.

Глава 4

Пап, я всё ещё жду, что ты зайдёшь

Второй черновик был короткий. Даже оскорбительно короткий для человека, который потратил половину жизни на то, чтобы делать вид, будто ему нечего сказать отцу.

Пап, я всё ещё жду, что ты зайдёшь.

И всё.

Никаких длинных объяснений. Никаких красивых предъявлений. Никакого списка обид, аккуратно разложенного по годам, как квитанции за коммуналку. Просто одна фраза. Детская, липкая, унижительная. В ней не было взрослого мужчины сорока двух лет. В ней сидел пацан в коридоре, который слышит шаги на лестнице и каждый раз надеется, что это он.

Я смотрел на экран и чувствовал, как внутри просыпается не боль даже, а раздражение. С отцами у нас в стране вообще странная система. Мать можно обвинить, понять, пожалеть, поссориться, помириться, снова поссориться, получить пакет котлет и маленький инфаркт в подарок. С отцом сложнее. Он часто не оставляет после себя ничего конкретного, кроме фамилии, пары привычек, плохой осанки и умения молчать так, будто это вклад в воспитание.

Мой отец не был чудовищем. Это тоже, к сожалению, важно. Чудовище удобно. Его можно поставить в угол памяти с табличкой «виноват» и ходить мимо с гордым лицом выжившего. Но отец был обычным. Слишком обычным, чтобы красиво его ненавидеть. Инженер, руки в вечных царапинах, куртка с запахом гаража, сигареты без фильтра в молодости, потом дешёвые с фильтром, потом «я почти бросил», то есть курил только когда нервничал, а нервничал, судя по всему, в соответствии с федеральным расписанием.

Он жил отдельно с моих двенадцати. Не ушёл хлопнув дверь. Не было большой сцены, где мать швыряла тарелки, а я стоял в проёме, сжимая плюшевого медведя и будущую травму. Всё случилось гораздо хуже — тихо. Сначала он задерживался на работе. Потом ночевал у бабушки, потому что «так ближе к объекту». Потом в прихожей стало меньше его обуви. Потом исчезла бритва. Потом мать сказала: «Папа теперь будет жить отдельно, но он тебя любит». Эта фраза — «но он тебя любит» — потом много лет работала как фальшивая справка от врача. Вроде документ есть, а болезнь никуда не делась.

Отец иногда приходил. Воскресенья, праздники, мой день рождения, если не выпадал объект, командировка, ремонт машины, плохое самочувствие, срочный выезд, да и вообще «ты же понимаешь». Я понимал. Дети вообще очень рано начинают понимать взрослых, потому что выбора у них нет. Они принимают взрослую слабость за устройство мира.

Он приносил шоколадку, машинку или набор фломастеров, садился на кухне, пил чай, спрашивал:

- Ну как школа?
- Нормально.
- Мать слушаешься?
- Да.
- Молодец.

И всё. Больше нам разговаривать было не о чем. Два мужчины, один большой, другой маленький, сидели за столом и делали вид, что передача генетического материала уже достаточный повод для близости.

Я открыл черновик.

Дата: **3 февраля, 11 лет назад. 18:12.**

Отец тогда обещал зайти ко мне после работы. Не «к нам», а именно ко мне. Это было важно. Мне был тридцать один, а я всё ещё различал такие вещи, как голодный пёс различает звук холодильника. Я тогда уже жил отдельно, работал, снимал маленькую студию у «Чёрной реки», где из окна было видно стену соседнего дома и кусок неба размером с уголовное дело. Лены ещё не было. Или она уже была где-то рядом, но не в моей жизни. Я был в том возрасте, когда человек считает себя взрослым, потому что сам оплачивает интернет, но всё ещё ждёт, что отец однажды зайдёт и скажет что-нибудь, от чего внутри перестанет сквозить.

Он позвонил утром.

— Будешь вечером дома?

— Буду.

— Зайду. Тут рядом буду.

— Во сколько?

— Да как освобожусь.

Вот это «как освобожусь» у отцов означает всё и ничего. Четыре часа. Семь. Никогда. Следующая жизнь. Не дави на меня, я же сказал, что зайду.

Я тогда купил чай. Даже печенье. Смешно, да. Взрослый мужик купил печенье к приходу отца, как будто собирался принимать комиссию по приёме детства. Убрал со стола бумаги. Помыл кружки. Выкинул мусор. Сходил за хлебом, хотя хлеб не нужен был вообще. В шесть сел ждать. В семь начал злиться. В восемь написал: «Ты где?» Он не ответил. В девять позвонил — недоступен. В десять пришло сообщение: «Не получилось. Давай на неделе».

И я написал тот черновик:

Пап, я всё ещё жду, что ты зайдёшь.

Написал — и не отправил.

Потому что в тридцать один год стыдно ждать отца.

В двенадцать — нормально. В семнадцать — уже неловко. В тридцать один — социально неприлично. Ты должен сам быть отцом, начальником, мужчиной с шуруповёртом и мнением о зимней резине. А не сидеть у окна с печеньем и смотреть, не остановится ли у дома старый «Форд».

Я навёл курсор на кнопку.

Отправить.

После истории с матерью я уже понимал, что это не просто кнопка. Это люк. Маленький, серый, цифровой люк в ту версию жизни, где я однажды сказал правду вовремя. И, что самое неприятное, организм уже не мог изображать скептика. Вчера ещё можно было списать всё на усталость, старый ноутбук, психоз офисного работника, которому клиент сказал «не хватает эмпатии». Но магнит на холодильнике был настоящим. Переписка с матерью была настоящей. Память раздваивалась, как старая плёнка: одна версия показывала, что я тогда промолчал, вторая — что отправил, говорил, ругался, пил сладкий чай с Леной и собирал кривой шкаф, который почему-то теперь вспоминался мне почти как счастливое событие.

Я нажал на черновик.

Окно открылось.

Пап, я всё ещё жду, что ты зайдёшь.

Курсор мигал после точки.

И появилась строка:

Ты правда хочешь услышать, почему он не пришёл?

Я откинулся назад.

— Нет, — сказал я.

Но это было уже неубедительно. Даже для мебели.

Отец — это всегда опаснее матери. С матерью много шума, крови, супа, обид, слёз, разговоров, повторных разговоров и странной надежды на то, что вы оба хоть как-то договоритесь

на языке, который сами же испортили. С отцом другая механика. Там тишина. А в тишине фантазия работает как следователь без выходных. Почему он не пришёл? Потому что не хотел. Потому что забыл. Потому что ему всё равно. Потому что я не был достаточно интересным сыном. Потому что у него была другая жизнь, где я шёл мелким шрифтом после запятой.

Я написал в ответ:

А если причина хуже, чем я думаю?

Экран ответил:

Ты уже живёшь так, будто знаешь худшее.

Вот это было сильно. Подлю, но сильно. Старый ноутбук явно прошёл какие-то курсы по эмоциональному шантажу или просто слишком долго лежал в питерской квартире, где вещи со временем начинают понимать людей лучше, чем люди сами.

Я встал. Прошёлся по кухне. Открыл холодильник, закрыл. Открыл кран, закрыл. Поправил магнит «Гражданка — тоже любовь», хотя он висел ровно. Посмотрел на мёртвый телефон. Он лежал чёрный и спокойный, как сообщник.

В спальне Лена спала. Или делала вид. После той новой-старой истории с матерью внутри меня что-то сдвинулось, но не настолько, чтобы я пошёл и разбудил её фразой: «Слушай, у меня тут папин черновик зовёт меня в прошлое». У каждой семьи есть предел странности, после которого нужен не разговор, а диспансеризация.

Я сел обратно.

Отец. Февраль. Чёрная речка. Печенье на столе.

Я помнил тот вечер так ясно, будто он всё это время стоял за дверью и курил, ожидая вызова. Снег тогда валил тяжёлый, липкий. Такой снег бывает в Петербурге, когда город решает не просто испортить тебе обувь, а философски напомнить о бренности. Я сидел в студии, смотрел в окно, подоконник был холодный, батарея жарила как сумасшедшая, воздух пах пылью и горячим металлом. На столе лежало овсяное печенье. Я даже разложил его на тарелку, хотя обычно ел из пачки, как нормальный одинокий мужчина с остатками достоинства.

Я ждал.

И когда он написал «не получилось», я не ответил. Сначала потому что хотел наказать молчанием. Потом потому что стало стыдно за наказание. Потом потому что прошло слишком много времени, и любое сообщение уже выглядело бы как признание, что я всё ещё сижу возле этого внутреннего окна.

Теперь я нажал **Отправить**.

Сообщение дрогнуло.

Статус сменился:

Отправлено.

Кухня исчезла.

Сначала пришёл запах. Не зрение. Не звук. Запах старой студии: пыль на батарее, дешёвый чай, влажная куртка на стуле, хлеб в пакете, который лежит уже третий день, и одиночество — у одиночества, между прочим, тоже есть запах. Оно пахнет комнатой, где никто не спрашивает, почему ты ешь стоя.

Я открыл глаза.

Студия у «Чёрной речки». Моя студия. Та самая. Узкая кровать у стены, стол у окна, стеллаж из «Икеи», который тогда казался временным, а потом такие вещи обычно переживают половину жизни. На стуле висела рубашка. На полу стоял пакет с мусором, который я собирался вынести ещё вчера. У окна — тарелка с печеньем.

В руке телефон.

На экране чат с отцом.

Пап, я всё ещё жду, что ты зайдёшь.

Отправлено.

Я сидел на краю кровати и слушал, как в батарее щёлкает металл. За окном снег превращал улицу в неудачный набросок. Машины ползли медленно. Где-то внизу дворник скреб лопатой асфальт с тем отчаянием, с каким человек пытается очистить жизнь от повторяющихся ошибок.

Прошла минута.

Две.

Пять.

Отец не отвечал.

Ну конечно.

Я усмехнулся. Даже альтернативная реальность, оказывается, не обязана иметь хороший сервис. Нельзя просто нажать кнопку, и человек, который всю жизнь отсутствовал пунктиром, вдруг станет доступен в полном качестве. Это тебе не обновление приложения.

Я положил телефон на стол. Встал. Подошёл к окну. Внизу возле подъезда стоял мужчина в куртке с капюшоном. Курил. Сначала я не понял, кто это. Потом он поднял голову, и я увидел профиль.

Отец.

Он стоял у моего подъезда.

Стоял и не заходил.

Вот эта сцена ударила сильнее, чем если бы его вообще не было. Отсутствие ещё можно объяснить. Пробки, работа, забывчивость, бессердечие, астероид. Но человек, который дошёл до подъезда и остался снаружи, — это уже другая порода боли. Это значит, что он был почти рядом. Почти отец. Почти пришёл. Почти смог.

Я схватил куртку, выбежал из квартиры, забыл ключи, вернулся, выругался, схватил ключи, снова выбежал. Лифт, как положено в минуты важной человеческой драмы, ехал с восьмого этажа так медленно, будто вёз на себе мебель, старуху и всю историю российского ЖКХ. Я плюнул, побежал по лестнице. На третьем этаже чуть не врезался в соседку с пакетом мусора. Она сказала:

— Молодой человек!

Мне был тридцать один, но для соседок все мужчины до смерти — молодые люди, особенно если бегут без шапки.

Я выскочил на улицу.

Снег сразу сел на лицо, воротник, волосы. Отец стоял у козырька, курил и смотрел куда-то в сторону дороги. Вблизи он выглядел старше, чем я помнил. Или это я раньше плохо смотрел. У него были тяжёлые веки, красные от холода руки, куртка с затёртыми рукавами. Щетина. На ботинках грязный снег. В одной руке сигарета, в другой телефон. Он увидел меня и сделал лицо человека, которого поймали не на преступлении, а на слабости, что для мужчин его поколения примерно одно и то же.

— Ты чего? — сказал он.

Прекрасное начало разговора между отцом и сыном после двадцати лет эмоциональной неадаптации.

— А ты чего? — спросил я.

— Курю.

— У моего подъезда?

— Ну.

Он затаился, выдохнул в сторону. Дым смешался со снегом. Очень по-питерски: даже воздух не мог определиться, чем быть — осадками или привычкой.

— Ты же написал, что не получилось, — сказал я.

— Не написал ещё.

Я посмотрел на телефон. Точно. Сообщения «не получилось» ещё не было. Время изменилось. Или я приехал чуть раньше точки своего старого унижения. Замечательно. У меня был шанс застать отца в момент, когда он ещё выбирает, как именно меня разочаровать.

— Ты собирался написать?

Он поморщился.

— Гер, не начинай.

Смешная фраза. Родительский универсальный огнетушитель. «Не начинай» обычно говорят человеку, который не начинал лет двадцать и наконец открыл рот.

— Я ещё не начал.

— Вот и не надо.

— Почему ты стоишь здесь?

— Сказал же, курю.

— Почему не заходишь?

Отец посмотрел на подъезд, потом на сигарету, потом куда-то мимо меня. Он был мастером смотреть мимо. Некоторые мужчины умеют забивать гвозди, чинить мотор, резать хлеб ровно. Мой отец умел в нужный момент не попадать взглядом в человека.

— Неудобно уже, — сказал он.

— Что неудобно?

— Поздно. Ты, может, занят.

— Я тебя ждал.

Он кивнул. Как будто я сообщил ему прогноз погоды.

— Я понял.

— Ты понял?

— Ну не ори.

Я не орал. Но у мужчин вроде моего отца любое повышение смысла в голосе уже считалось криком.

Мы стояли под снегом. Мимо прошла девушка с собакой в куртке. Собака посмотрела на нас с таким утомлённым сочувствием, будто в её семье тоже были проблемы с коммуникацией.

— Пап, я купил печенье, — сказал я.

Это было глупо. Унизительно. Невозможно. И именно поэтому правда.

Он наконец посмотрел на меня.

— Что?

— Печенье. К чаю. Я ждал тебя.

Лицо у него изменилось. Не сильно. У таких мужчин лицо вообще двигается мало, потому что в детстве им, видимо, объяснили, что мимика — это первый шаг к позору. Но что-то дрогнуло. Вокруг глаз. В углу рта. Маленькая трещина в бетонной плите.

— Гер...

— Нет, ты скажи. Ты дошёл до подъезда. Почему не зашёл?

Он бросил сигарету в снег, наступил на неё ботинком. Слишком тщательно. Так люди убивают время, когда не могут убить разговор.

— Не знаю.

— Великолепно.

— Я правда не знаю.

— Ты всё время не знаешь. Ты не знаешь, почему не пришёл. Не знаешь, почему не звонил. Не знаешь, почему обещал и исчезал. У нас вся семья построена на твоём «не знаю». Очень удобно. Почти архитектура.

Он устало потер лицо.

— Я не хотел мешать.

Я даже рассмеялся.

— Мешать чему?

— Тебе. Жизни твоей.

— Пап, ты не табуретка. Ты не можешь мешать, если стоишь в комнате. Ты отец.

Он посмотрел на меня с раздражением.

— Ты думаешь, я не понимаю?

— Не знаю. Ты же специалист по этому слову.

— Герман.

— Что?

— Я не умел.

Три слова.

Простые. Плохие. Некрасивые. Даже немного жалкие. Но от них у меня внутри что-то просело.

Я не умел.

Вот и вся мужская эпопея. Не трагедия, не проклятие рода, не сложный психологический профиль. Просто взрослый мужик стоял у подъезда сына и не заходил, потому что не умел быть отцом без инструкции. А инструкции ему никто не выдал. Его отец, мой дед, вообще разговаривал с детьми в формате погоды, ремня и замечаний по хозяйству. Отец просто передал дальше то, что получил: пустые руки, закрытый рот, страх неловкости, замаскированный под занятость.

— Не умел что? — спросил я, хотя уже понимал.

Он сунул руки в карманы.

— Приходить. Говорить. Ну... быть. Как надо.

— А как надо?

— Откуда я знаю?

И это было почти смешно. Два поколения мужчин стояли под снегом у подъезда на «Чёрной речке» и обсуждали инструкцию к близости, которой ни у кого не было. Где-то наверху у меня в студии остывал чай и ждали печенья. Где-то в городе будущая Лена ещё не знала, что выйдет замуж за человека, который унаследовал от отца искусство исчезать, находясь рядом.

— Ты мог просто зайти, — сказал я.

— Мог.

— И?

— Испугался.

Я посмотрел на него.

Отец отвёл глаза, но не сразу. На секунду задержался. Эта секунда была важнее половины наших прошлых разговоров.

— Чего?

Он пожал плечами.

— Что ты будешь смотреть на меня как сейчас.

— Как?

— Как будто я должен был быть лучше.

Я хотел сказать: «Да, должен был». И это было бы правдой. Отец действительно должен был быть лучше. Просто приходить. Просто звонить. Просто помнить, что ребёнок ждёт не подарки, а шаги в коридоре. Но рядом с этой правдой стояла другая: он сам всю жизнь боялся чужого ожидания, потому что не знал, как ему соответствовать. Поэтому исчезал первым. Удобная мужская стратегия: если тебя нет, с тебя меньше спрос.

— Я не хотел быть тебе в тягость, — сказал он.

— Ты стал.

Он кивнул, будто получил заслуженный удар.

— Понимаю.

— Нет, не понимаешь. В тягость становится не тот, кто приходит. А тот, кого всё время ждёшь.

Снег летел между нами. Мелкий, липкий. У отца белели плечи. Он вдруг стал очень старым. Или это я наконец перестал смотреть на него снизу вверх.

— Пойдём, — сказал я.

Он поднял глаза.

— Куда?

— Ко мне. Чай пить. Печенье есть. Ты же дошёл.

Отец посмотрел на подъезд так, будто там был не лифт и облупленные стены, а вход в сложную медицинскую процедуру.

— Поздно уже.

— Пап.

Он замолчал.

— Пойдём.

Мы поднялись молча. Соседка с третьего этажа уже успела вернуться и теперь смотрела в глазок так громко, что это почти было слышно. В квартире отец снял ботинки, поставил их аккуратно у двери. Слишком аккуратно. Как человек, который не уверен, имеет ли право занимать место. Он прошёл на кухню, сел на стул. Я поставил чайник. На тарелке лежало печенье. Дурацкое, овсяное, сухое. Лучшее печенье в истории наших отношений, потому что к нему всё-таки кто-то пришёл.

— Нормально устроился, — сказал отец.

Квартира была маленькая, с облезлым подоконником и краном, который капал. Но это была его форма одобрения.

— Спасибо.

— Работа как?

Я усмехнулся.

— Только не начинай со школы.

Он не понял. Потом понял. Кивнул.

— Ладно.

Мы пили чай. Молчали. Но это молчание было другим. Не тем, которое закрывает дверь. Скорее тем, которое сидит рядом и не знает, с какой фразы начать, но хотя бы не убегает к подъезду курить.

— Я правда хотел заходить чаще, — сказал он вдруг.

Я посмотрел на него.

— И почему не заходил?

Он взял печенье, повертел в руках, положил обратно.

— Думал, тебе не надо.

— Ты спрашивал?

— Нет.

— Удобно.

Он поморщился.

— У тебя всё в мать. Сразу ножом.

— А у тебя всё в деда. Сразу в бункер.

Он посмотрел на меня. Потом вдруг коротко усмехнулся. Первый раз за вечер. Улыбка вышла кривая, ржавая, но настоящая.

— Может быть.

Потом мы говорили. Не красиво. Не глубоко. Не как люди из фильма, где отец наконец рассказывает сыну правду под музыку. Он рассказал, что тогда, после развода, боялся приходить, потому что мать смотрела на него так, будто он оставляет грязные следы на её честной

жизни. Что у него была женщина, с которой ничего не вышло. Что он чувствовал себя идиотом между двумя домами. Что иногда стоял у нашего подъезда и уходил. Что на мой день рождения однажды купил подарок, но не поднялся, потому что услышал из окна, как мы с матерью смеемся, и решил, что без него лучше.

— Это тупо, — сказал я.

— Знаю.

— Очень тупо.

— Знаю.

— Прямо выдающееся тупо.

— Герман.

— Всё, молчу.

Мы оба не умели. Вот в чём была проблема. Но в тот вечер, в той маленькой студии, среди печенья, снега за окном и батареи, которая щёлкала как старый метроном, мы хотя бы перестали изображать, что молчание — это характер.

Он ушёл около полуночи.

У двери вдруг неловко остановился. Я тоже. Два взрослых мужчины в прихожей, оба не знают, надо ли обниматься, пожимать руку, хлопать по плечу или вызвать специалиста.

Отец первым протянул руку.

Я пожал.

Рука у него была сухая, холодная, с шершавыми пальцами. Рука человека, который много чего чинил, кроме главного.

— Я зайду ещё, — сказал он.

Я хотел ответить: «Посмотрим». Хотел защититься. Сделать шаг назад раньше, чем он снова исчезнет. Но вспомнил печенье на столе, снег на его плечах, «я не умел».

— Зайди, — сказал я.

Он кивнул.

И ушёл.

Не всё изменилось после этого. Конечно, нет. В жизни вообще редко что-то меняется одним разговором, если это не разговор с врачом, полицией или беременной женщиной. Отец всё равно иногда пропадал. Всё равно говорил мало. Всё равно забывал даты, путал имена моих проектов, звонил не вовремя и спрашивал про работу с выражением человека, который ищет безопасную тему на минном поле.

Но он стал заходить.

Раз в месяц. Иногда реже. Иногда чаще. Приносил рыбу, которую я не просил. Чинил кран, который я уже собирался менять. Сидел на кухне. Пил чай. Иногда рассказывал какую-нибудь ерунду про гараж. Иногда молчал. Но это молчание больше не было стеной. Оно стало неуклюжей мебелью в комнате, где мы оба всё-таки находились.

Мир хлопнул.

Я снова сидел на нынешней кухне.

Старый ноутбук передо мной. Дождь за окном. Мёртвый телефон рядом с запиской Лены. На экране статус второго черновика изменился:

Отец — отправлено.

Я не сразу понял, что изменилось в квартире.

Потом увидел.

На подоконнике стоял маленький старый ящик с инструментами. Металлический, серый, с облезлой красной ручкой. Я точно знал: раньше его здесь не было. И одновременно знал, что он стоял тут уже шесть лет. Отец принёс его, когда помогал мне менять смеситель. Сказал: «Оставь себе. У меня ещё есть». Врал, конечно. У него всегда было только одно нормальное из всего, и это одно он почему-то отдавал так, будто просто освобождал место.

Я подошёл к ящику. Открыл.

Внутри лежали отвёртки, плоскогубцы, изолента, маленький уровень и пакетик с шурупами. На крышке изнутри была наклейка. Почерк отца, корявый, почти школьный:

Герману. Чтобы не ждал мастера.

Я сел на стул.

И долго смотрел на эту надпись.

Смешно. Не «люблю». Не «прости». Не «я был неправ». Мужчины вроде моего отца не пишут таких фраз, потому что боятся, что бумага взорвётся от нежности. Но «чтобы не ждал мастера» — это, возможно, было его «я рядом». Кривое. Ржавое. С запахом гаража. Но настоящее.

Я закрыл ящик.

Вернулся к ноутбуку.

Осталось пять сообщений.

Вера.

Сашка.

Лена.

Сын.

Я сам.

Следующим был черновик Вере.

Первая строка:

Я тогда испугался.

Я усмехнулся.

Ну конечно.

После матери и отца жизнь, как порядочный палач, решила перейти к любви.

Глава 5

Я тогда испугался

Следующий черновик был Вере.

Я тогда испугался.

Три слова. Даже не сообщение, а огрызок признания. Такая фраза не объясняет ничего, но сразу портит воздух в комнате. Она появляется на экране, и ты уже не можешь сидеть ровно, потому что тело вспоминает раньше головы: мокрые кеды, дешёвый кофе, подъезд без лампочки, её пальцы на твоём рукаве, твоё идиотское лицо, когда нужно было сказать «останься», а ты сказал что-то вроде «ну, как хочешь».

У каждого мужчины есть женщина, про которую он годами врёт себе особенно изящно. Не обязательно первая, не обязательно главная, не обязательно самая красивая. Просто та, рядом с которой он однажды мог стать настоящим, но испугался и выбрал более привычную профессию — быть мудаком с загадочным внутренним миром.

У меня это была Вера.

Я познакомился с ней в книжном на Невском, когда мне было двадцать три, и я ещё носил длинный шарф, потому что считал себя сложным человеком, хотя на деле просто плохо одевался. Я стоял у полки с американской прозой, делал вид, что выбираю книгу, а на самом деле ждал, что жизнь заметит мою глубину и выдаст премию. Вера стояла рядом и листала что-то толстое, с таким видом, будто у неё есть не только вкус, но и план спасения от общего идиотизма.

— Вы тоже берёте книги, чтобы потом поставить их на полку и чувствовать себя лучше? — спросила она.

Я повернулся. На ней был зелёный свитер, волосы собраны кое-как, одна прядь выбивалась и жила отдельной жизнью. Лицо не идеальное — с чуть острым подбородком, тонким носом, внимательными глазами и выражением человека, который не собирается облегчать тебе задачу. В руках она держала Кафку.

— Я беру книги, чтобы страдать профессиональнее, — сказал я.

Она посмотрела на меня пару секунд.

— Слабовато, но засчитаю.

Так всё и началось. Не с молнии, не с музыки, не с судьбы, разлившейся по Невскому сиропом. С плохой шутки, Кафки и её взгляда, в котором было слишком много воздуха для моей маленькой душной жизни.

Мы гуляли по Петербургу так, будто город выдали нам во временное пользование. Набережные, дворы, Сенная, Литейный, мосты, дешёвые кофейни, где кофе был настолько плох, что его можно было использовать как аргумент против капитализма. Вера знала какие-то странные места: двор, где в стене торчал старый металлический крюк; подъезд, где сохранилась плитка с дореволюционными завитушками; маленькую булочную, где продавали слойки с яблоком и женщина за кассой всех называла «родные», хотя явно ненавидела человечество.

Она училась на филфаке, подрабатывала в библиотеке и писала рассказы, которые никому не показывала. Я тогда работал помощником в маленьком рекламном бюро, где главной задачей было делать так, чтобы пластиковые окна звучали как путь к внутренней свободе. По вечерам я рассказывал Вере, что скоро уйду оттуда и начну писать серьёзные тексты. Она слушала. Не верила полностью, но слушала. Это было даже хуже. Когда в тебя верят слепо — можно обмануть. А когда в тебя верят умно, с сомнением и надеждой, приходится либо расти, либо убегать.

Вера умела говорить вещи, от которых хотелось одновременно целовать её и защищаться ножкой табурета.

— Ты всё время играешь человека, которому ничего не надо, — сказала она однажды.

Мы сидели на лавке у канала Грибоедова. Был апрель, мерзкий, мокрый, петербургский апрель, когда город ещё не решил, будет ли жить дальше или просто потихоньку сгниёт красиво. Вода была чёрная. Голуби выглядели как мелкие чиновники после плохого совещания.

— Мне много чего надо, — сказал я.

— Например?

Я пожал плечами. Самый трусливый жест на земле. Плечи вообще придумали для людей, которые не готовы отвечать ртом.

— Не знаю. Свободы.

Вера рассмеялась.

— Какая удобная ерунда.

— Почему ерунда?

— Потому что под “свободой” ты обычно имеешь в виду право ничего никому не объяснять.

Я обиделся. Конечно. Молодой мужчина обижается мгновенно, если женщина случайно попадает в центральную нервную систему его позы.

— А ты хочешь, чтобы я всё объяснял?

— Я хочу, чтобы ты хоть иногда был не литературным туманом, а человеком.

Эта фраза должна была остаться со мной навсегда. И осталась. Просто я, как опытный трус, упаковал её в папку «она меня не понимала» и положил туда, где хранятся все удобные версии прошлого.

Мы встречались почти год. Это был не гладкий год. Там были ссоры, голод, дурацкая ревность, ночные разговоры, её слёзы в парадной, мои исчезновения на два дня, потом сообщения в стиле «прости, завал на работе», хотя никакого завала не было, была только паника от того, что человек подошёл слишком близко. Вера хотела ясности. Не свадьбы, не кольца, не ипотеки, не семейного портрета на фоне финского залива. Просто ясности. А я умел давать всё, кроме неё: иронию, секс, прогулки, цитаты, рассказы о будущем, обещания без даты, нежность на кухне, холод на улице, всё это прекрасное меню эмоционально незрелого человека.

Потом ей предложили стажировку в Праге. На полгода. Может, на год. Может, навсегда — так она сказала, и я услышал в этом не возможность, а угрозу. Она ждала, что я попрошу её остаться. Или поеду с ней. Или хотя бы скажу: «Мне страшно тебя потерять». Нормальная, человеческая фраза, которую можно произнести ртом без смерти от потери достоинства.

Мы встретились у Витебского вокзала. Почему там — уже не помню. В Петербурге вокзалы вообще появляются в личных историях, как сотрудники морга: спокойно, официально и с пониманием, что сейчас кто-то куда-то уйдёт. Был вечер. Снег с дождём. Люди тащили чемоданы, пакеты, детей, усталость, свою географическую тоску. Вера стояла у входа в метро, в красном шарфе, с маленьким рюкзаком. Красный шарф — вот что память оставила мне вместо нормального объяснения.

— Я уезжаю через две недели, — сказала она.

— Знаю.

— И?

— Что “и”?

Она посмотрела на меня так, будто я только что провалил экзамен, к которому готовилась она.

— Герман.

— Вера.

— Не делай так.

— Как?

— Как будто тебе всё равно.

Я сунул руки в карманы. Тот самый жест, которым мужчины пытаются спрятать отсутствие позвоночника.

— Мне не всё равно.

— Тогда скажи что-нибудь.

И вот тут был момент. Не литературный, не красиво подсвеченный, не судьбоносный для прохожих. Просто две минуты у Витебского вокзала, мокрый снег, красный шарф, автобус фыркает у остановки, какой-то мужик ругается с водителем такси, а твоя жизнь стоит перед тобой и просит: скажи что-нибудь.

Я сказал:

— Ты сама решила.

До сих пор хочется дать тому парню по лицу. Не сильно, но точно. Чтобы он хотя бы почувствовал, что тело у него есть.

Вера побледнела. Не драматично. Просто из неё ушло что-то тёплое.

— Понятно.

— Что понятно?

— Всё.

Она ушла в метро. Я стоял, смотрел, как закрывается дверь, и чувствовал не свободу, а пустоту, но назвал её свободой, потому что так было выгоднее для моего внутреннего бухгалтерского учёта.

Через два дня я написал ей: **Я тогда испугался.**

Не отправил.

Сначала потому что ещё можно было. Потом потому что уже поздно. Потом потому что она уехала. Потом потому что прошло полгода. Потом потому что она выложила фотографию из Праги с каким-то парнем, и я решил, что она счастлива назло мне, хотя, скорее всего, она просто стояла у реки, а рядом оказался человек, который умел говорить чуть лучше, чем мебель.

И вот теперь эти три слова светились на старом ноутбуке в моей нынешней кухне, где пахло холодной гречкой, дождём из открытой форточки и новым знанием: прошлое, оказывается, не ушло. Оно просто сидело в папке и ждало, пока у меня сломается телефон.

Я открыл черновик.

Дата: **21 марта, 19 лет назад. 02:14.**

Мне стало неприятно от этой цифры. Девятнадцать лет. Почти половина жизни. За это время можно вырастить ребёнка, построить дом, потерять волосы, сменить страну, разлюбить музыку, научиться пить чай без сахара, испортить брак, похоронить старую собаку, а я всё ещё хранил в себе три слова, которые должен был отправить девочке в красном шарфе.

На экране появилась строка:

Ты правда хочешь знать, что было бы, если бы не сделал вид?

— Уже без этих ваших вступлений можно? — сказал я.

Ноутбук промолчал. Наглая машина знала, что я всё равно нажму.

Я смотрел на кнопку **Отправить** и чувствовал, что с Верой страшнее, чем с родителями. Родители — это фундамент. Он может быть кривой, сырой, с трещинами, но он был до тебя. С ними ты работаешь не только со своей виной, а с тем, что тебе досталось. А первая любовь — другое дело. Там ты сам всё испортил своими руками. Никто не заставлял. Никто не стоял над тобой с семейным половником. Ты мог сказать. Ты не сказал. Конец экспертизы.

Я нажал.

Сообщение ушло.

Кухня растворилась, будто её смыли влажной тряпкой.

Сначала я услышал вокзал.

У вокзалов особый звук — смесь шагов, объявлений, кашля, колёс чемоданов, чужих расставаний и вечного металлического чувства, что кто-то обязательно опоздает на свою жизнь. Я открыл глаза и увидел Витебский вокзал. Тот же вечер. Снег с дождём. Люди. Запах мокрой одежды, кофе из автомата, тормозной пыли и пирожков, которые выглядят опаснее некоторых политических режимов.

Я стоял у входа в метро.

Мне было двадцать три.

На мне был тот самый длинный шарф. Боже, какой позор. Если бы жизнь была справедливой, некоторых молодых людей не пускали бы в судьбоносные сцены в таком шарфе. Сначала переоденься, потом порти отношения.

Вера стояла передо мной. Красный шарф. Маленький рюкзак. Волосы намокли у висков. Глаза злые и живые.

— Тогда скажи что-нибудь, — сказала она.

Сцена повторялась.

Только теперь в моём кармане завибрировал телефон. Я достал его. На экране — отправленное сообщение:

Я тогда испугался.

Вера тоже посмотрела на свой телефон. Прочитала. Подняла глаза.

— Что это?

Я открыл рот.

Вот он, момент, когда можно снова всё испортить. Сказать: «Не тебе». «Ошибка». «Да это так». «Я не то имел в виду». Выдать одну из тех маленьких защитных мерзостей, которыми мы забиваем окна в себе, а потом удивляемся, почему внутри темно.

— Это правда, — сказал я.

Она замолчала.

Люди текли вокруг нас. Город вёл свою мокрую логистику. Кто-то толкнул меня плечом и буркнул: «Смотреть надо». Очень правильно. Смотреть действительно надо. Просто я начал поздновато.

— Чего ты испугался? — спросила Вера.

— Тебя.

Она почти усмехнулась.

— Очень лестно.

— Не в этом смысле.

— А в каком?

Я посмотрел на неё. Молодую. Сердитую. Живую. Ещё не ставшую воспоминанием, которое я буду доставать по ночам, как идиот достаёт старую открытку и делает вид, что просто убирается в ящике.

— Ты видела меня лучше, чем я хотел.

Она не ответила. Только чуть приподняла подбородок.

— Ты всё время спрашивала, что я чувствую. Чего хочу. Почему пропадаю. Почему начинаю шутить, когда надо говорить нормально. А я... я не знал, что с этим делать.

— Можно было отвечать.

— Я не умел.

— Очень удобная фраза. У вас, мужчин, наверное, где-то выдают набор: “я не умел”, “я не хотел тебя ранить”, “я просто запутался”, “дело не в тебе”.

Она говорила резко, и я заслужил каждую букву. Вера вообще была опасна тем, что не кричала. Она резала чисто. Как хороший нож для хлеба, который почему-то пустили по живому.

— Я не хочу оправдываться, — сказал я.

— А что хочешь?

Я посмотрел на её красный шарф. На мокрую прядь у щеки. На руки, сжимающие лямку рюкзака. На этот вокзал, который уже однажды забрал её из моей жизни, хотя если честно — я сам аккуратно подвёл её к турникету и пожелал счастливого пути.

— Хочу сказать, что мне было не всё равно. Тогда. Сейчас. Всё это время.

Она усмехнулась.

— Очень вовремя.

— Да.

— Прямо пунктуально.

— Да.

— Аплодирую стоя, Герман. Через две недели я уезжаю, и ты внезапно обнаружил внутри себя человека.

Я кивнул.

— Похоже на то.

Она отвернулась. Смотрела на поток людей у входа в метро. Я видел, как у неё дрожит скула. Не слёзы. Нет. Вера не была из тех, кто дарит тебе красивую сцену плача, чтобы ты почувствовал себя значительным. Она держалась. И именно поэтому было больнее.

— Я ждала этого полгода, — сказала она.

— Знаю.

— Нет, не знаешь. Ты думаешь, я ждала признания в любви? Нет. Я ждала, что ты хотя бы перестанешь делать вид, что я сумасшедшая. Что мне не кажется. Что между нами есть что-то, а не просто твои прогулки, твой сарказм, твои внезапные исчезновения и эти вечные глаза человека, который собирается уйти первым, чтобы его, бедного, не оставили.

Меня пробило жаром, несмотря на снег.

— Я был идиотом.

— Ты был трусом.

Справедливо. «Идиот» — слишком мягко. Идиот может быть обаятельным. Трус — точнее. Там меньше романтики, больше плесени.

— Да, — сказал я.

Вера посмотрела на меня. Кажется, именно это её и остановило. Не моё признание, не сообщение, не жалкий вид, а то, что я не стал спорить. Раньше я бы обязательно спорил. Нашёл бы формулировку, где моя трусость стала бы сложностью, а её боль — излишней требовательностью. Умный человек может превратить любую подлость в эссе. Я тогда только начинал этому учиться, но уже подавал надежды.

— И что теперь? — спросила она.

Это был страшный вопрос. Самый страшный. Потому что «прости» — легко. «Я испугался» — уже сложнее, но тоже можно. А «что теперь?» требует поступка. Направления. Билета. Решения. Чего-то, что не прячется за красивыми словами.

Я сказал:

— Не знаю.

Она закрыла глаза.

— Боже.

— Нет, подожди. Я не знаю, как правильно. Не знаю, надо ли просить тебя остаться. Не знаю, могу ли поехать с тобой. Не знаю, что будет через месяц. Я вообще мало что знаю, хотя очень убедительно изображаю обратное.

— Заметно.

— Но я знаю, что если сейчас снова скажу что-нибудь холодное, буду ненавидеть себя за это всю жизнь.

Она молчала.

— Я хочу, чтобы ты уехала не с мыслью, что тебе всё показалось. Не с мыслью, что ты была для меня удобной остановкой между работой и моей великой внутренней пустотой. Ты была важна. Ты есть важна. Я просто трус, Вера. Не загадочный. Не свободный. Не сложный. Трус.

Сказал — и стало тихо. Не вокруг. Вокруг всё шумело. Поезда, объявления, люди, мокрые ботинки, такси, город, который никогда не соблюдает тишину в важные моменты. Но внутри на секунду выключили вентилятор, который годами гонял по мне пыль.

Вера вдруг рассмеялась.

Не весело. Устало.

— Господи, Герман. Ты даже признаёшься в трусости так, будто пишешь аннотацию к себе.

— Профессиональная деформация.

— Заткнись.

— Хорошо.

Она подошла ближе и ударила меня кулаком в грудь. Не сильно. Но с чувством. Так, как бьют человека, которого одновременно хочется обнять и утопить в ближайшем канале.

— Я злилась на тебя, — сказала она.

— Знаю.

— Нет, ты опять не знаешь. Я злилась не потому, что ты не обещал мне вечность. Мне твоя вечность не нужна была, у тебя бы там всё равно было плохо с отоплением. Я злилась, потому что ты заставлял меня чувствовать себя глупой. Будто я придумала нас одна.

Это было самое точное.

Не любовь. Не расставание. Не Прага. А вот это: я заставил её чувствовать себя глупой за то, что она видела правду. Сколько людей мы калечим не тем, что не любим, а тем, что отрицаем очевидное, пока человек рядом начинает сомневаться в собственных глазах.

— Прости, — сказал я.

— Не делай из этого красивую сцену.

— Не буду.

— И не думай, что я теперь останусь.

— Я не думаю.

— Думаешь.

— Немного.

— Вот видишь.

Я улыбнулся. Она тоже почти улыбнулась, но не дала улыбке разойтись. Держала её на поводке.

— Я уеду, — сказала она.

Я кивнул.

— Я понимаю.

— Нет, не понимаешь. Но потом поймёшь. Может быть. Если перестанешь использовать иронию как резиновую женщину для души.

— Это ужасная фраза.

— Зато точная.

— К сожалению.

Она посмотрела на часы.

— Мне надо идти.

И вот тут я почувствовал старую панику. Не ту, с красивыми слезами, а животную: сейчас она уйдёт, а ты останешься со своей новой честностью, как с мебелью, которую купил без доставки. Хотелось схватить её за руку. Сказать: «Не уходи». Сказать: «Я люблю тебя». Сказать

всё сразу, слишком поздно, слишком жадно, как человек, который проспал пожар и теперь пытается залить пепел стаканом воды.

Я сказал:

— Можно я тебя провожу?

Вера посмотрела на меня долго. Потом кивнула.

— До входа. Не больше.

Мы пошли к метро. Рядом. Не держась за руки. В этом была какая-то взрослая жестокость: идти рядом с человеком, которого уже потерял, но ещё можешь слышать его шаги.

У турникетов она остановилась.

— Герман.

— Да?

— Ты не плохой.

Я чуть не рассмеялся.

— Сомнительное заявление.

— Ты трусливый. Это хуже в быту, но не приговор.

— Спасибо за юридическую точность.

— Не прячься за шутку.

Я замолчал.

Она поправила шарф.

— Если когда-нибудь будешь писать об этом, не делай меня своей спасительницей.

— Не буду.

— И не делай стервой.

— Тоже не буду.

— И себя не делай героем.

— А кем?

Она посмотрела на меня так, будто ответ очевиден.

— Человеком, который наконец сказал правду, но всё равно опоздал.

Потом она прошла через турникет.

На этот раз я не стоял каменным идиотом. Я смотрел ей вслед и чувствовал боль не как пустоту, а как плату. Иногда честность не возвращает человека. Она просто лишает тебя права дальше лгать о том, почему он ушёл.

Вера оглянулась уже у эскалатора. Подняла руку. Не помахала даже — просто маленькое движение пальцами. Я кивнул.

И всё.

Никакого поцелуя. Никакой сцены, где она внезапно бежит обратно, поезд опаздывает, Бог ставит лайк, а зрители верят, что любовь лечит неврозы. Она уехала в Прагу. Через две недели. Мы переписывались какое-то время. По-настоящему. Без моих исчезновений. Без её попыток вытащить из меня человека ломом. Потом переписка стала реже. Потом прекратилась. Она вышла замуж за чеха с фамилией, похожей на звук падающей посуды. Или за музыканта. Или за преподавателя. Память не сразу определилась, пока новая версия жизни встраивалась в старую.

Но изменилось другое.

Я перестал рассказывать себе, что она меня не поняла.

Это оказалось большим событием.

Гораздо большим, чем если бы она осталась.

Потому что вся моя дальнейшая жизнь строилась на этой удобной фразе: «меня не поняли». Мать не поняла. Отец не понял. Вера не поняла. Друг не понял. Жена не понимает. Ребёнок слишком маленький, потом, видимо, тоже не поймёт. А я такой стою посреди Петербурга, единственный сложный человек в окружении туповатых метеорологических явлений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.